

БЕРНИНГЕИ РОМАНОВ

ИРКУТЪ КАЗАЧИЙ

ЗАРЕВО НАД ИРКУТСКОМ

Иркутск, 1912 г.



ПОДРОЖЕНІЯ

в степях Зауралья и Забайкалья



16+

Герман Романов

Иркутъ Казачій.
Зарево над Иркутском

«ЛитРес: Самиздат»

2011

Романов Г. И.

Иркуть Казачій. Зарево над Иркутском / Г. И. Романов —
«ЛитРес: Самиздат», 2011

Роман посвящен событиям, произошедшим в последние месяцы 1917 г. в России сразу после октябрьского переворота, апофеозом которых стали декабрьские бои в Иркутске – над городом поднялось зарево пожаров жестокой гражданской войны. В центре повествования семья иркутских казаков Батуриных, которым приходится делать свой нелегкий выбор...

ИРКУТ КАЗАЧИЙ

Зарево над Иркутском

Роман посвящен событиям, произошедшим в последние месяцы 1917 г. в России сразу после октябрьского переворота, апофеозом которых стали декабрьские бои в Иркутске – над городом поднялось зарево пожаров жестокой гражданской войны. В центре повествования семья иркутских казаков Батуриных, которым приходится делать свой нелегкий выбор...

ПРОЛОГ

Верховья р. Витим

19 августа 1890 года

Белесый утренний туман окутал плотным холодным покрывалом тесный горный распад. Недолгая летняя ночь с ее серой темнотой уже отступала, отдавая свои права начинавшемуся дню. Нижний край неба, еле видный из-за невысоких, но острых и заснеженных горных вершин, словно накинул на себя розовое покрывало – всходило скупое на жаркую ласку сибирское солнышко.

Под дуновением холодного ветра грозно шумели своими вершинами величавые сосны и казавшиеся ободранными замухрышками перед ними, но не уступавшие им в росте старые лиственницы.

У потухших углей костра клевал носом караульный – не выдержал долгого ночного бдения старый бурят с морщинистым от пережитого времени лицом, крепко уснул в предрассветную пору, когда больше всего хочется спать. Но старинное ружье он из своих рук не выпустил и даже зажал его между коленками.

Рядом с ним спали еще трое бурят – на груди нарубленного лапника лежал старик со смертельно бледным лицом, накрытый до груди потрепанным синим халатом, а двое других, помоложе возрастом, но тоже в серьезных годах, крепко почивали рядышком, приклонив головы на потертые седла. Однако и во сне они цепко держали свои руки на старинных, кремниевых фузеях.

Полдюжины низеньких, но крепких монгольских лошадок подъели за ночь не только траву вдоль горной речушки, но даже принялись за кусты, осторожно обгладывая листву и мотая мохнатыми гривами. Лошади были хорошо вымуштрованы своими спящими хозяевами – те их даже не стреноживали на ночь. А зачем? Куда они в тайге денутся...

Грохот ружейного выстрела на секунду заглушил клочкотание речки и потряс не только сонную тайгу, но и горы – по склонам покатались камушки. Так и не выпустив ружья из рук, караульный уже мертвым свалился мешком на холодное кострище.

Двое спящих бурят мгновенно проснулись и судорожно схватили свои ружья. Вот только оборониться им не дали – два выстрела вновь разорвали горный воздух, а через секунду прогремел и третий. Первая жертва рухнула на тело убитого часового, а второго пулей откинуло в сторону, однако зацепило только в бедро.

Невероятно изогнувшись, бурят прижал ружье к плечу и выстрелил в ответ – в заречную сторону, покрытую густым кустарником. Стрелял зряче – там над ветками клубился белый пороховой дым. Перезарядить фузею дело долгое и муторное, и потому он попытался схватить ружье убитого часового. Однако его время уже ушло, через секунду пожилой бурят упал на камни мертвым – три метких выстрела грянули почти одновременно и отбросили тело убитого в сторону.

Лежащий под халатом старик даже не пошевелился, а лошадей выстрелы не напугали – они лишь отбежали в сторону от места убийства хозяев, недовольно косились и фыркали,

мотая гривами. И все затихло кругом – снова шумела кругом тайга и клокотала речка, и лишь только разбуженные выстрелами птицы начали громко щебетать, обсуждая на своем непонятном языке произошедшее.

Из прибрежных кустов выскользнули три человека с берданками наперевес – все в синих мешковатых казачьих мундирах с желтыми лампасами на шароварах. Казаки перешли речушку вброд, осторожно прыгая по камням, как косули, и медленно подошли к убитым.

– А ведь чуть не убил, сукин сын! На вершок ниже взял бы, и отпевай казачью душу, – рослый казак, с проседью в черной густой бороде, покрутил в мозолистых мощных ладонях черную форменную фуражку с эмблемой полицейской стражи горного ведомства из скрещенных молоточков. Почти в середине поднятой тульи виднелось пулевое отверстие – грязный толстый палец стражника легко вошел в дырку.

– Тебе повезло, Гриня, – второй казак был чуть моложе, лет тридцати, русский, с густыми пшеничными усами на худощавом хищном лице. Впрочем, он мог быть и ровесником первому – борода ведь сильно старит человека. На его погонах вытянулись две тонкие белые лычки младшего урядника, что говорило о начальственном статусе служивого, так как у двух других казаков желтые погоны были пусты.

– Семен Кузьмич, мунгалки-то строевики, видно, пальбы совсем не боятся, учены. Откуда они у них? И почто от нас уходили, зачем на нас напали и Пахома убили?

– Не знаю, Гриня, не знаю. Шут его подери... Серьга! – урядник повернулся к третьему казаку. Тот был совсем молодым, лет двадцати, с доброй примесью бурятской крови, про таких парней говорят, что молоко на усах не обсохло. Только вот незадача, ведь усов и в помине не было, даже не намечались.

– Посмотри тела, осторожно только. Вдруг оживет кто. Да шашку-то вынь, недотепа.

– Сделаю, Семен Кузьмич! – парень закинул берданку за спину, поправил погонный ремень, затем обнажил клинок и стал осматривать тела убитых. Его двое старших товарищей подошли к лежащему на лапнике старику, наклонились. Бородатый казак запустил руку под халат, пошарил пальцами. И извлек целую горсть разных костяных фигурок и амулетов, переплетенных кожаными ремешками.

– Никак этот дохляк шаман?! Ну и дела...

– Да нет, Григорий Петрович, не убитый. Жив еще, еле дышит, но кончится вскоре, – урядник раздвинул полы синего монгольского халата – на черном впалом животе старика, посередине большого родимого пятна в виде птицы, было входное пулевое отверстие с запекшимися кровавыми краями.

– Покойный Пахом не оплошал вчера, зацепил этого, а остальных мы здесь завалили. А что в тех сумках? – казак отошел на два шага к сложенным седельным сумкам и стал вытряхивать первую – на камни посыпались тряпочки, пшено, мешочки с травами, костяные фигурки, звучно выпали три медных плоски. Ничего ценного не было, и Григорий брезгливо отбросил ткань в сторону и взялся за последнюю суму.

– Твою мать?! Ни хрена себе! – Оба казака застыли в изумлении – поднять сумку бородатый не смог, только свалил набок. А оттуда выкатился то ли божок, то ли Будда, пузатый, с изумрудными глазами. Небольшой по размеру, со штофную бутылку казенной водки, он тускло отсвечивал до боли знакомой желтизной. Золото...

– С полпуда будет, точно, – Семен наклонился и поднял божка, покачал в руках, привыкая к тяжести. – Даже больше будет, фунтов на двадцать пять потянет на безмене. Это богатство, точно говорю.

– И с тех бегунов мы два фунта песком и самородками взяли...

– Не замай! Хозяину вернем, то его, приисковое. Свою четверть получим, по десять золотников, да Ермолаю и семье Пахома столько же.

– С чего это ты взял? Ране же решили ничего хозяину не давать!

– А божка как? Хозяин за него половину отсыплет – а это нам по четыре фунта каждому придется. Всем троим по четыре фунта будет, а не золотника, понял? Он такие вещи собирает, да и молчать будет. Сам понимаешь...

– Да уж... За этого божка буряты меня и в Шимках достанут. Шаманы не простят. Потому-то они от нас и уходили, и Пахома завалили. Тьфу ты! И влипли же мы.

– Хоронить их всех придется, а то не дай Бог костяки с нашими пулями отыщут, беды не оберешься...

– Ежу понятно. Лошадок отпустим или завалим тоже?

– Оставим, возиться не хочется. Сами не выйдут, а если и выйдут, то ничего не расскажут...

Казачи переглянулись и заулыбались. И не заметили, что старик открыл белесые глаза, и лишь тихая бурятская речь подбросила их на месте:

– Хараал шэрээлдэ хуртоо, унинэй хараалай муугаар хараалгуулаа. Алтаар занажа хараагаа... Булганда ганса зай шоро асарна. Хоргодогты, бэеэ нюугты... Тиигээгуй хаа, булганда ехе муу байха... Булганда, таанарташье ба таанарай хуугэдтэшье...

Старик в изнеможении закрыл глаза, изо рта полилась по щеке струйка крови. Казачи в изумлении переглянулись.

– Что он сказал? Я только два слова понял – «золото» и «всем». Ты же с бурятами роднущь, в Тунке живешь...

– Кликушествует, чушь в беспамятстве порет, – Григорий насупился, и урядник сразу понял, что тот правды ему не скажет. И тормозить бесполезно – упрям, как кобдинский верблюд, и, если не захочет, то выбивать из него бесполезно. И худо, что Серега, племянник Григория, слов старика не слышал, ибо язык знает – только сейчас к ним направился, задвинув клинок в ножны.

– Шашку обратно вынь. Старика добей, племяш, незачем ему мучиться, душа-то человечья! Да не смотри ты так. Это тебе не стрелять из-за кустов, рука и клинок должны кровь человеческую отведать. Давай! В сердце коли и рукоять поверни. Давай, давай, ты же казак!

Очень не хотелось молодому казаку делать это, но послушаться родного дядю он никак не мог – острие шашки уперлось в грудь старика напротив сердца. Казак кхекнул и с силою воткнул клинок – шаман чуть дернулся и застыл, уже навечно.

Сергей вытянул клинок из тела, но стереть кровь не успел, в изумлении уставившись на золотого божка, которого только сейчас заметил у своих ног. Он не мог поверить своим глазам, и только видел, как капает черная кровь на желтый металл. Только кровь и золото, золото и кровь...

ГЛАВА ПЕРВАЯ ОЛХА – КАЗАЧЬЯ СТАРИНА

Олха
(Семен Кузьмич Батурич)

– Вставай, Кузьмич, пробуждайся. Утро настало, – мягкий голос жены уже отдалялся, загремела печная заслонка и громко мякнула кошка. Ох, и прожорлива, хвостатая, но поди тронь – Анна тут же всю плешь проест за свою любимицу. Пусть уж мявкает...

Свою супругу Анну Трофимовну Семен Кузьмич любил, да и жил с ней в согласии ровно сорок пять лет. Рано оженили их родители, по завету – чтоб единственный сын древний казачий род Батуриных успел продолжить, ведь не дай Бог на службе царской молодой казак голову свою сложит. Ему шестнадцать лет тогда было, а ей на полгода меньше – а когда в двадцать он присягу перед алтарем принял, дочь с сыном уже по дому бегали. Анна ему Анютку, в честь ее

и названную, сразу подарила, а следом Антона, первенца. Через девять лет после него Федор народился, а когда за ним спустя три года и Петр на свет божий появился – стала казачья семья весьма многолюдной...

– Ох уж, годы мои тяжкие, – громко прокряхтел старый казак и оторвался от воспоминаний. Он откинул теплое ватное одеяло к стенке, сел на кровати и привычно засунул ноги в обрезанные валенки. Встал, перекрестился на икону Спасителя, привычно и негромко прочел «Отче наш». Но религиозным Семен Кузьмич стал только на старости лет – ведь молодому казаку совсем не грех пост иной раз не соблюсти или молитву не сотворить. Господь всегда простит ему, если не заботится он живот свой положить за царя, за отчий край и веру православную.

Поддержав десницей спадающие кальсоны, казак сделал несколько шагов и оказался у противоположной стены небольшой спальни, что в казачьих домах кутьей называется или запечной комнатенкой. стакан с чуть теплым малиновым напитком стоял на комод, и Семен Кузьмич его немедленно выпил. Крякнул от удовольствия и стал облачаться в мундир, который заботливая жена уже вывесила на стенку – как же, сразу после завтрака предстоит ему в казачий поселок Медведево ехать, что под Иркутском, невесткам старших сыновей помочь по хозяйству, внучат побаловать.

Да и Антон обещал к вечеру из Иркутска подъехать. Его командир дивизиона в бессрочный отпуск отправил – выслужил все казак, давно за сорок сыну. Ныне Временное правительство решило всех таких возрастных казаков по домам отправить, некоторые ведь давно и дедами стали, пусть детей и внуков уму-разуму учат да землю обиходят...

Рука сама поправила четыре медали, что получил он за службу ревностную, только вот плечи давненько не ощущали привычной жесткости погон. И ничего не поделаешь – раз уволен казак по возрасту в отставку по чистой, то снимай погоны. А жалко, ведь у него три лычки старшего урядника, за взвод отвечал, не с офицеров же службу спрашивали.

Батулин чуть ухмыльнулся в бороду – нынешний командир дивизиона полковник Прокопий Оглоблин когда-то у него во взводе военную службу зачинал, молодым еще парнишкой. Но шустрым был, как анчутка, да и нареканий не вызывал, справный. А теперь чин-то какой у него высокий, да крестов полна грудь – полком забайкальцев на Кавказе супротив турка командовал, Георгия четвертого, офицерского, получил за храбрость, да благодарность от самого царя Николая Александровича. Теперь же обратно в Иркутск приехал, на родину, хотя в должности шибко Прокопия Петровича понизили...

Только начищенные до блеска сапоги не стал надевать – еще успеется, да и в валенках теплее. Подошел к маленькому рукомоюнику в углу, умылся теплой водой и утерся рушником, смахнув капли с русой, обильно подернутой сединой, бороды. Причесал волосы гребешком на голове, затем прошелся по пышным, прямо молодецким, усам – казачьей гордости. Ибо безбородому и безусому казаку уважения и почета нет, скобленные морды только антихристу любы. Посмотрелся в блестящую гладь холодного самовара – хорош казак! Хоть сейчас на царский смотр выходи. Еще раз перекрестился на покрытые рушником иконы и вышел из спальни.

У огромной вытянутой печи с лежаком, что обогривала сразу все четыре комнаты большого дома, прадедом Сильвестром Мироновичем рубленного из лиственницы в старые времена еще при царице Екатерине, хлопотали жена и невестка Полина, третьего сына Петра жена. Молодка, еще личико в веснушках, статная девица – племянница его старого сослуживца и друга Сергея Андреевича Зверева из Шимкинской станицы, что женат на его единственной дочери Анне. Вот только уже ходила, как гусыня, сильно живот у нее выпирал – будет сыну через два месяца первенец, а ему внук. Или внучка, что хуже, ибо на бабу надел не дается. А казак родится – царю сгодится. И Семен рассчитывал на казака – ведь живот огурцом бодро выпирал, не яйцом, а то примета старая и добрая.

– Здорово ночевала, доченька. Да не крутись ты с ухватом, дите ведь в себе носишь, – и не удержался от маленькой мести, наступил на хвост кошке. Та противно взвыла и убежала в горницу.

– Ты кошку не тронь, старый! Ну что она тебе помешала?!

– Так нечаянно я, случайно. Не приметил...

– Ага! И вчера тоже не углядел?

– Потому и валенки поставила, чтоб сапогом хвост не отдавил?

Они посмотрели друг на друга, дружно хмыкнули и весело засмеялись. Заулыбалась Полина – животик так и заходил из стороны в сторону. А тут и обиженная кошка вернулась, стала тереться о ногу хозяйке. Семену померещилось, что ушлая тварь свой язык ему показала – на, мол, выкуси. Казак от обиды аж поперхнулся, протер глаза – да нет, поблазилось.

Покряхтел Семен Кузьмич и уселся на свое место возле окна. Зала с кухней была просторной, раза в три больше спальни – три сажени на две. Здесь всегда было тепло, как и в спальне – большая часть печи выходила на эту половину дома. А потому и младенцы здесь в колыбели ухали, вначале дети, а теперь и внуки пошли. Да и правнуков рассчитывал увидеть Семен Кузьмич, и не без основания – Кузьме, сыну Антона, девятнадцатый год в мае исполнился, совсем взрослый стал, в приготовительный разряд весной попал. Еще полгода пройдет – и на службу его отправлять придется.

И тут старику поплохело – о младшем сыне Иване совсем запамятовал, а он на месяц младше своего же племянника. Это было нечто – жена с пузом ходит, а рядом невестка с таким же пузом – бабы на селе все глаза проглядели, завидуя люто. Вот так и получилось у них – не погнал он Анну к старой Федосье, что спицей плоды из чрева вытаскивала. И в Иркутск город к врачу тоже не повез – с женой дружно решили пятого дитя рожать. И не пожалели ни разу, Господа много раз благодарили. Да и сам Семен помолодел, заново вспоминая нехитрую науку пестования...

Достал из жестяной коробки длинную папиросу, смял желтыми от курева пальцами мундштук, сильно чиркнул серной спичкой по огниву, закурил и пахнул дымком.

К табаку пристрастился казак давно, с начала службы еще при царе Александре «Освободителе», коего злодеи бомбой поразили в Петербурге. И привык к зелью, никак не мог откаться, хотя и кашлять стал. Курил много, иной раз жадно. Да и старший сын Антон с папиросами сильно ему помог – за два месяца до войны с германцами, словно чувствовал, отцовской любимой «Лиры» прикупил, что пятиалтынный за сотню штук стоила. На шестьдесят целковых зараз, все свои деньги вложив – на подводе пять больших коробок привез, кое-как под кровати запихнули. За эти три года Семен едва две коробки из пяти одолел, мысленно благодаря сына за заботу...

– Отец, ты уснул или задумался? – ласковый голос жены привел Семена в себя. – Иди к столу,-snидать будем.

Батурин тяжело поднялся с лавки, прошелся по залу, уселся на мягкий диван. Эту городскую роскошь купил он семь лет назад в Иркутске, заплатив немало, и зеркало аршинное прикупил, и ковер большой, и прочие причуды. Но затраты того стоили – горница приобрела городской вид, не хуже гостиной князя Бековича-Черкасского, что Иркутской сотней до войны командовал. А на ковре сейчас три шашки висели – его и сыновей Петра и Ивана. Ранее об этом и помыслить было нельзя, ибо запрещено было иркутским казакам шашки дома держать, только на службу выходя от казны получали, а потом в арсенал сдавали, как на демобилизацию шли.

В апреле этого года собрались казаки на свой первый войсковой круг, объявили о создании войска и отменили сами запрет на шашки. И ничего не сделали власти, поморщились, но разрешили всем купить шашки, чтоб от казаков других войск не отличаться. Семену Кузьмичу

клинки старший сын Антон купил – тароват первенец, все что угодно достанет, как из-под земли. Недаром лычки младшего урядника носит и сотенным хозяйством заведует.

А Петру сейчас шашка не положена – юнкер он в военном училище, и к будущей весне в офицеры его произведут. «Белой костью» станет, первым в роду. Настоящим хорунжим выйдет – настоял Семен Кузьмич, чтоб сын не поступал в школу прапорщиков, хотя в офицеры бы его произвели уже в этом декабре. Хотя какой офицер, это громко сказано. Ибо всем известно, что курица не птица, а прапорщик не офицер. Но погоны галунные Семен сыну заранее купил, как и офицерскую шашку с темляком. Пока ходит Петр сейчас в армейской форме, а казачью справу сразу отцу на сохранение отдал, а то на училищном складе ненадежно – шибко воруют...

– Опять уснул, Семен Кузьмич? – казак встрепенулся от голоса жены. И в правду чего-то часто кемарить стал. А стол уже накрыт скатертью, а на нем разносолов сельских уйма, все свое – из амбара и подпола.

Миска соленых огурчиков, что хрустят на зубах, – жена по засолке была мастерица. А вот грузди у Полины даже лучше получались, с лучком нарезанным, маслицем постным приправленные. Этого года засол, июльские – невестка с сыном за горой собирали все лето, хорошо уродились.

А вот сало, с толстыми мясными прожилками да с чесночком, было прошлого года – кабана только неделю назад зарезали, нечего ему жрякать, пора казаков попотчевать. И хоть не было свежего сала на столе, но отожравшийся за два года кабан, выхолощенный за полгода до убоя, чтоб мясо вкусным было, мог сейчас хорошо порадовать казачьи души. Ведь на столе ласкали взор холодец из ножек, рулька копченая, тушенная капуста с ливером, сочная ветчина с чесночком – жена целый день потратила на выварку свинины в специально купленной в городе форме. Зато получилась превосходной – глаза радовала, а по вкусу такая была, что язык проглотить можно.

И рыба имелась в наличии – хариус копченый и соленый на блюдах лежал, только вот беда – почти не стало его в речушке, а рыбачить на Иркуте далековато. Своя речка мелкая и узкая, а рыбешка в ней сорная – щука, окуни, елец, пескари да ерши, а на такой жир не нагуляешь.

Так что лишь мимоходом посмотрел Семен Кузьмич на хорошо обжаренных в конопляном масле до коричнево-золотистого блеска ельцов и окуней – на них Иван да Анна большими охотниками были, а вот он сам больше привычную расколотку жаловал. Только нет пока ее, морозов больших ждать надобно – и заморозить в камень сига или хариуса с Иркута. А потом расколотить его на кусочки, да с перчиком и солью неспешно отведать, почти как строганина идет.

И молоко на столе имелось – и парное, и топленое. Свеженькое надобно Полинке пить, для дитятки полезно, а топленным чай забеливают. И сыр лежал козий, ноздреватый, что хорош вприкуску с чесночком и краюхой душистого свежеспеченного ржаного каравая. И шаньги на столе в миске, творожники, в них Анна для сладости изюма подсыпает.

Но это так, закуска легкая на столе, а чугунок с будоражащим запахом еще в печи томился, Анна с пылу-жару подаст. «Казачий паштет» – изрядное варево и сытное: хитрая смесь тушеного мяса, картошки, капусты, моркови и лука, да с кедровым маслицем. Когда молодым был Семен Кузьмич, то за присест мог полчугунка ведерного умять. А еще очень жаловал старый казак пельмени – их всей семьей дружно лепят в морозы, так что до наступления настоящих холодов ждать требуется.

И еще рассольников горка – с рыбой и луком пироги, по изобилию они так в Сибири называются. И поговорка у казаков и старожилов в ходу – у хозяев хлебосольных полон дом рассольников. А вот хлеба пока нет, вчера соседям отдали последние два каравая, ибо в нем нужда была. А новая опара только вошла в силу, и сегодня Аннушка печь будет, на неделю вперед, но так в селе все поступают. Хлеб – он всему голова, к нему с почтением надо. Пока

вспахешь, засеешь, дождешь да обмолотишь на мельнице в муку, семь потов сойдет, и не одна рубашка за лето сопреет.

Нельзя сказать, что очень богатый стол был накрыт, но у трети сельчан в праздники, не то что в будни, и половины от того не было – жили Батурины справно и сытно, грех жаловаться, многие сельчане завидовали, что и денежки у них завсегда водились, так уж вышло...

Остров
(Федор Батурин)

– Господин урядник, кончай дрыхнуть, царствие небесное проспишь, – чья-то не очень заботливая рука безжалостно вырвала Батурина из объятий сладкого сна, в котором казак уже прикоснулся своими горячими и сухими губами к прохладной коже вожденной жены Антонины.

– Какого..., – поперхнулся именем нечистого казак, за именование коего отец мог высечь в детстве, как сидорову козу. И правильно делал – незачем в христианском доме имя анчутки произносить. Вон, доигрались – вся Россия теперь Содом и Гоморра, и правит в ней Вельзевулов легион.

Это от батяни – в отличие от младших братьев, Федор в гимназии почти не учился, выгнали, да и в начальном училище только два года грыз пресловутый гранит науки, с которым и соотносил загадочное слово «легион», намертво вбитое в его голову суровым отцом.

– А такого! Нас ныне вывели из полка. Наконец-то, слава тебе Господи, избавились от «страдалцев», – младший урядник Петр Зверев на радостях перекрестился. Федор окончательно проснулся – уссурийские казаки достали всех до печенок. Половина на лошадях сидят хуже, чем пьяная баба на заборе. Да что с них братъ – написали в казаки крестьян уйму, а им честь казачья стала сейчас до одного места. Сопли распустили в разные стороны – «устали от войны», «долой тяжкую казачью службу», «хотим, как и все жить, без повинностей» и прочую муть несут. Одно есть слово для них – «страдалцы» хреновы. Причем только полковые бузят, в дивизионе народ и покрепче будет, и помоложе. Да там и большая часть иркутских казаков служит, отдельной сотней. А полковые?! Казачий надел в полсотни десятин им не привилегия?! Так они от него отказаться-то не желают!

Посадили бы их на пять десятин, да налоги в три шкуры драли, как с иркутских казаков – остались бы они в Уссурийском войске? Беса лысого, разом треть казаков – «гужеедов», «сынков» приписанных, что всех подбивают, лампы спорили бы...

Федора сразу расперла злоба, а ведь еще глаза не протер. Машинально застегнул пуговицы на гимнастерке и соскочил с жесткого топчана, застеленного пропыленной шинелью. Вбил ноги в почищенные еще с вечера сапоги, надел свою многострадальную шинель, поправив на ней кресты и медали, перетянулся ремнем. Накинул португепю с шашкой, затем нахлобучил фуражку – и лишь после этого сладко зевнул. Удалось казаку выспаться...

– Командующий корпусом приехал, а с ним..., – Зверев сделал такую длинную паузу, что Федор сразу насторожился. – Керенский у нас в Острове! Министр-председатель! У нас! С Петербурга сбежал сюда вчера!

– Твою мать! – новость застала Батурина врасплох. Значит, все разговоры о перевороте большевиков два дня назад есть голимая правда, а он ведь поначалу не верил. Ну и дела! Колотит матушку-Россию как роженицу, только вместо здоровых деток какие-то абортированные выкидыши у нее выходят, один другого ужаснее. И куда дальше пойдем?

Но спросил другое:

– Откуда вести такие?

– Донской генерал велит в поход собираться, столицу усмирять...

– Это дело, давно пора, а то все их дерьмо на целую страну расходится, и народ нюхает с упоением. Рубить всю сволочь надо, сибирского казака Лавра Георгиевича Корнилова возвращать немедленно и порядок наводить...

– И то верно. Давно пора, – согласился с ним Зверев. Об этом думали не они одни, такие разговоры давно велись среди иркутских и енисейских казаков. Из всех частей Уссурийской конной дивизии именно они, входившие в состав Уссурийских полка и дивизиона отдельными сотнями, сохранили к октябрю 1917 года и желание воевать, и воинскую дисциплину, и относительный порядок.

На фронт иркутяне и енисейцы попали только к маю прошлого года. До того командование Иркутским округом категорически противилось отправке в действующую армию вышколенных на военно-полицейской службе Иркутского и Красноярского казачьих дивизионов. И пришлось казакам на фронт бежать, вначале по одному, потом группами.

«Дезертирство» так развилось, что бежал чуть ли не каждый десятый казак из полутысячного дивизиона. И у братьев енисейцев «бегунов» хватало с избытком. И потому радостный праздник был у казаков, когда повелел, наконец, государь-император Николай Александрович отправить сводные сотни на фронт. Но не всем разрешили ехать, а только по одной сотне иркутских и енисейских казаков. И все – сколько не просились станичники в армию, всем отказ вышел. Лишь в ноябре три десятка казаков отправили для восполнения убыли. А в этом году, когда армия разваливаться начала, а солдаты массами с фронта дезертировать стали, иркутские и енисейские казаки опять ходатайствовали, чтоб дивизионы на фронт отправили, единым полком воевать. И снова на отказ нарвались – командование такие надежные части в резерве держало, опасаясь восстаний и смуты...

– Генерал Краснов приказал нашей сотне его личным конвоем быть, – торжествующий голос Зверева вывел Федора из размышлений. Новость шокировала. Донской генерал с начала войны с германцами командовал 10-м Донским полком, что входил в состав их корпуса вместе с 9, 13 и 15-м полками 1-й Донской дивизии. Полки кадровые, вышколенные...

«Ё-моё, неужто своим станичникам генерал так не доверяет? Или наоборот – более доверяет иркутянам и енисейцам, что полста лет пасынками казачества были. А что – у нас все в полном порядке, лошади чищены, казаки подтянуты, обмундированы, наряд несется исправно. И агитаторов всяких гоним – хватит, обожглись один раз на революции, в пятом году... Жаль только, маловато народа в строю – иркутскую и красноярскую сотню давно в одну свели из-за потерь, и в той казаков осталось едва на полусотню – кто в госпиталях лежит, кто в отпуске, кто в командировках или фуражировках. Зато теперь самые боевитые остались».

Федор машинально коснулся двух георгиевских крестов и медали на своей груди – награжденных в сотнях было подавляющее большинство. Только с названием объединенной сотни обидно – Енисейской в приказе определили. Красноярцы хоть на Енисее живут, а иркутским казакам обидно.

Ладно бы войско было общее, так у каждого свое, а на Енисее даже два поначалу разродилось...

– Здорово ночевали, – в комнату вбежал небольшого роста бурят, с кривыми ногами и тонкими усиками. На погонах широкий галун вахмистра, на груди три креста с медалями. Боевой бурят, еще один золотой крест получит – и полным Георгиевским кавалером станет.

– Да слышали уже новость, Хорин-хон, – отмахнулся от не слетевших с губ слов Федор, – сами от нее тут шалеем.

Царствие небесное иркутскому вахмистру Осипу Петрову, полному кавалеру «Георгиев», что был убит полгода назад разрывом германского «чемодана» – держал сотню в ежовых рукавицах, у него не забалуешь. И замену, будто смерть свою предчувствовал, подобрал заранее – Николая Егоровича Малкова, бурята из сельца Капсал, что прибился к казакам в Оеке,

когда они там коней набирали. Командир его всеми правдами и неправдами оставил, форму казачью справили.

Бурят толковый оказался, служил справно, урядника получил и на фронт добровольцем поехал. И для войны оказался рожден, будто с пашкой в руках родился, отчего и прозвище себе получил, на которое, впрочем, не обижался. Но вахмистром стал не только за храбрость – в казачьей сотне он единственный не казак был, а потому родственников не имелось, а, значит, и пристрастия. Тут командир сотни есаул Коршунов с ходу сообразил. Но Хорин-хон уже казак – настояли сослуживцы, чтоб в станице Спасской этого храбреца в войсковое сословие записали. И сейчас в Енисейскую сотню переведен – от тункинцев решил не отрываться...

– Тебе, Батурин, с взводом задача особая есаулом поставлена, самого Керенского охранять будешь! – и бурят с такой неприкрытой завистью посмотрел на Федора, что обедай сейчас тот, в единый миг бы куском подавился. Понять Хорин-хона было можно – командовать личной охраной премьер-министра дело ведь не только почетное, но и во всех ракурсах прибыльное, и в деньгах, и в чинах...

– Сотня в ружье поднята, через десять минут выступаем к собранию, где штаб корпуса, там Керенский с комитетами дивизионными встречаться будет. А потому выводите свой взвод быстро! – Малков резко повернулся и выбежал из комнатенки, за ним пулей выскочил Зверев, и через секунды Федор услышал его крик: «В ружье, казаки, выступаем пешими на охрану самого Керенского!»

Понимая, что времени остается у него мало, Федор закурил папироску – на них он и расходовал все деньги, ибо курить махорку было зазорно старшему уряднику, да и горло драла, словно кошка когтями...

Олха
(Семен Кузьмич Батурин)

Хлопнула дверь в сенях, затопали ногами, и тут же голос раздался: «Сам то дома?». И сын в ответ: «Ты поперед иди, дядя».

Дверь в горницу отворилась. В накинутаой на плечах шубейке, в валенках, уставив вперед черную бороду, зашел сосед Василий Кошкин, шуряк, младший брат Анны. Перекрестился медленно на образа, поклон отдал. За ним Иван вошел, весь в отца, низкий ростом, но коренастый и жилистый, и волосы соломенные.

– Здорово ночевали, родичи, – голос у Василия басом, ему бы дьяконом в церкви хор вести.

– И тебе здорово. Садись, сидать с нами будешь. И не отнекивайся зараз, – Семен хлопнул ладонью о диван, рядом с собой. Иван тут же разоблачил дядю, шубейку повесил на крюк, рядом с другой одеждой, а сам бочком, бочком – и на табурет присел, в сторонке. За Анну спрятался. Ладный младший сын – косоворотка вышита матерью, шаровары с атласными желтыми лампасами, ремень наборный, казачий.

Шурин одет в казачий мундир, такой же, как на Семене, только лампасов нет. Василий не казак сейчас, хотя по крови коренной казак, но и не крестьянин. Есть в губернии такие крестьяне из казаков, так и пишутся, а более в России таких нет, нигде не сыщешь, кроме еще Енисея. Ибо сорок шесть лет тому назад рассказали многих казаков, кому-то из генералов в Петербурге моча в голову ударила, а государь-император, не разобравшись в филькиной грамоте, подмахнул сей зловердый указ.

Только хранят старинные казачьи традиции многие, особенно старики, хотя и молодые есть – и мундиры старые носят, и ремни с особыми пряжками упраздненного Иркутского конно-казачьего полка, на которых отчеканена красивая лошадиная голова. Долгановы и Лит-

винцевы в Олке как раз из таких род свой ведут, целой улицей живут и родичами близкими являются...

А вот Андреевы и сами Кошкины коренные природные казаки – еще при царе Алексее Михайловиче братья Никифор и Андриан Кошкины Олхинское селение основали. Но лет двадцать назад сильно допекли их крестьяне, вот и вышли они из казачьего сословия.

– Отче наш, иже иси на небеси, – встал Семен Кузьмич и принялся читать молитву. Поднялись все за столом, склонили головы. Дочитал молитву старый казак, широко осенил себя крестом, и все за ним разом перекрестились. Дружно уселись за стол и приступили к трапезе, благо аппетит у всех был нагулян. Ели по старой традиции молча, сытно – все разговоры должны идти только за чаем, не раньше. А ежели кто из молодых раньше времени рот разевал, то от старшего мог тут же получить в лоб деревянной ложкой. И за дело – когда я ем, я глух и нем...

Наконец Семен Кузьмич, обливаясь потом, доел «паштет» и отодвинул миску. Все разом оживились, женщины в четыре руки убрали все со стола, поставили чашки и расписные стаканы, множество блюдец с вареньем, медом, сладким печеньем с изюмом (то забава была любимая Семена Кузьмича – уж сильно казак изюм любил), водрузив напоследок горячий самовар – в него просто залили добрых полведра кипятка с плиты. И начали дружно чаевничать, прихлебывая с блюдечек горячий чай.

– Что ж ты, сынок, бочком ко мне все время сидишь, как не родной. Повороти-ка светлый свой лик, – от ласкового голоса отца Иван поперхнулся чаем, закашлялся. Полина тут же похлопала его по спине, жалостливо улыбулась – пропал малец, будет ему от отца на орехи. Но делать нечего, и Иван обреченно повернулся.

– Славно тебе, Ванюша, харю разукрасили, любоваться можно долго, хоть мать и замазать пыталась, – левый глаз драчливого отпрыска заплыл сиренево-фиолетовым фингалом, на щеке ссадина, а ухо напоминало разбухший пельмень. – И кто это тебя так разукрасил?

– Зареченские постарались, – в голос захохотал Василий, но чуть боязливо покосился на Семена – зять на десять с лишним лет старше, да и нравом крут, может и в ухо захватить, такое уже бывало. – Ты бы на моего младшего Григория посмотрел, – продолжил с ехидцей шурин, – так разделали, с утра до вечера любоваться можно. И полушубок изнахратили, черти. И Долганов Андриюха не лучше. Им на пару досталось, а твой-то на раздачу последним попал.

– Как интересно, – протянул Семен Кузьмич, игнорируя взглядом поникшего сына, – и почто весь сыр-бор разгорелся?

– Зареченские старики приходили с утра, жалились мне. Воротников Трофим Егорыч и Постников Прокоп Иваныч...

– Знаю их...

– Девки на вечерке не поделили провозать, самогонки выпили, ну и слово за слово. А твой не участвовал в склоке, в доме был, – после последних слов дяди Иван воспрянул духом и даже улыбулся. – Их семеро было, зареченских, и Андриюху с Гришкой прищучили. А Ванька по нужде вышел, и ему хотели вмазать. Но твой сын в дом кинулся, вылетает оттуда и орет на всю улицу – «Порублю в капусту, суки». А те как увидели «шашку», да и в бега...

Хрек – никто ничего не успел понять, как Ивана отшвырнуло к стене. Семен Кузьмич поднялся, покачал крепким кулаком, которым вмазал по уху отпрыску, лицом ужасен от гнева.

– Сеня! – взвыла во весь голос жена и кинулась между отцом и сыном. Любила она младшего без памяти, нежила и баловала, вот и бросилась на его защиту, растопырив руки, как крылья – птица так птенца защищает.

– Тебе для чего шашку дали, пенек?! На людей с боевым оружием кидаться?! Палки не было?! Да я тебя...

– Да погоди ты, Семен Кузьмич. Скор ты на расправу, а меня не дослушал! Так он палку и схватил, только те-то сами ее за шашку приняли, вот и в бега ударились от страха. Это семеро

от одного, – и Василий во весь голос захохотал, держась пальцами за ременную пряжку с лошадиной головой.

У Семена от сердца немного отлегло – не хватало ему сейчас вражды с влиятельными зареченскими новоселами, что поселились в Олке на правой стороне речушки тридцать-сорок лет тому назад. Да какие они новоселы сейчас, если два-три поколения уже родилось. Старожилами стали!

А удивляться нечему – по левую сторону Олки с седой старины проживают крестьяне из казаков, да он с домочадцами, единственный оставшийся в селе казак. И трактовая улица, что по берегу идет, издавна казачьей называется. Именно на ней четвертая сотня упраздненного полка расквартирована была, а комплектовалась она из трех крупных казачьих станиц, что ныне селами называются – Олки, Введенщины и Баклашей, и многих мелких выселков, что вокруг ютились.

Весь район от гор до Иркутска полвека назад чисто казачьим был – Семен сам с раннего детства помнил, что все кругом в форме ходили. В Олке тогда больше сотни дворов было с полутысячей казачьего населения. А сейчас почти три сотни дворов, и более тысячи двухсот жителей, причем крестьян из казаков чуть больше половины. А потому ссориться с влиятельными новоселами себе дороже...

Остров (Федор Батулин)

Во двор Федор выскочил с последними казаками, быстро мазнул взглядом – первыми стоят саянцы, за ними построились шеренгами красноярцы, потом взвод абаканских казаков, а вот его тункинцы в хвосте расположились, четвертым взводом, последним. Привычно встал крайним справа, скосил глазом, и больно резануло по сердцу – взвод в 16 рядов по два казака в каждом, плюс три урядника – старший, командиром, и два младших, что полувзводами командуют. А теперь у него во взводе только полтора десятка казаков, с ним самим, грешным. И в других взводах не лучше, а у красноярцев даже хуже...

Из дверей выскочили, придерживая шашки, офицеры Енисейской сотни – их осталось только трое, остальные кто где, как и казаки. Впереди есаул Петр Федорович Коршунов, родовой иркутский казак, с ним старший брат Антон действительную службу начинал, погодки они, круглолицый, с хищными усами, как у тигра. За ним родовые енисейцы топали, оба в чинах сотников – Тяшинский и Смирнов.

– Направо! Левое плечо вперед! – повинуюсь громкому повелительному голосу есаула, казачья колонна четко повернулась и быстрым шагом пошла к зданию городского общественного собрания, благо идти было недалеко, две сотни метров.

Там уже толпились женщины благородного облика с букетами цветов, интеллигенты с бородками и пенсне, темные юркие личности в картузах и котелках. Всю эту публику едва сдерживали пятеро казаков с алыми донскими лампасами на полевых шароварах, на их синих погонах виднелась цифра «10».

Угладев подходивших енисейцев, донцы вздохнули с нескрываемым облегчением. И сразу усилили натиск, стремясь оттеснить толпу от дверей. Это удалось, они даже расчистили маленький проход. И как горная сибирская река крушит на своем пути преграды, в толпу вошли слитные ряды казаков в желтых лампасах, сразу разбросав обывателей по сторонам.

Внутри было не протолкнуться – в длинном широком коридоре столпилось не меньше сотни народа, и все стремились попасть в столовую, вход в которую закрывали четверо порядком помятых донцов.

Есаул поднял руку и сделал вращательное движение над головой, сжав пальцы в кулак. Знакомая полицейская команда сразу была принята к исполнению – растянувшись по коридору

цепью, казаки начали вытеснять из него всех штатских. Дам обихаживали вежливо, с казачьим обхождением, как бы невзначай сжимая округлые прелести в мозолистых лапах, шептали при этом в розовые женские ушки такие слова, что дамы моментально покрывались краской. И Федор в который раз удивлялся – за такую выходку благородный сразу получал пощечину по щеке, а простому казаку назначали ночное свидание, всегда веселое и сытное.

Вслед за чинно выставляемыми женщинами последовали мужчины, но тут было совсем другое обхождение. Их без затей выталкивали, а чтоб шума не было, особо протестующим или говорливым просто били легонько под вздох – интеллигент выпучивал глаза, силясь вздохнуть, а его тут же под белые руки подхватывали два лихих казачка и вежливо выносили на улицу – тот только безвольно бултыхал ногами в воздухе...

Четвертый взвод пришел на выручку донцам вовремя. Казаков уже почти вдавили в столовую. Громко раздавались крики штатских граждан – «дозвольте глянуть на министра-председателя», «Александр Федорович, душенька», «господин председатель, два слова для нашей газеты».

Что была за газета, Батурин дослушивать не стал – хищными канюками обрушились его казаки на обывателей, как на желторотых цыплят. И через минуту перед столовой очистилось пространство – в коридоре исчезли не только толпящиеся, но и донцы, которых тоже вытолкали на улицу под запарку. Те не противились, знали заранее, что конвой теперь новый будет.

– Узурпаторы революции должны быть наказаны, и народ сам пойдет по пути процветания, равенства, демократии и свободы! – услышав громкую речь, сказанную довольно визгливо, как верещит трехлетний кабанчик на холощевке, Федор немедленно заглянул в просторную комнату. Не только интересы службы, но и распаленное любопытство толкнуло казака на этот шаг.

В столовой было с десяток человек – посреди нее стоял худошавый мужчина, одетый в английский военный френч без погон, с остроносом, как у галчонка лицом, и вещал во весь голос. Именно вещал, но с какой-то истерией в голосе. Им мог быть только сам Керенский, ибо в центре общего внимания никто другой быть просто бы не мог. Остальные присутствующие его слушали, но по-разному.

На лице командира корпуса генерал-майора Петра Николаевича Краснова зависла плохо спрятанная ухмылка. Сама фигура пожилого генерала в ладно пригнанной казачьей форме выражала решительность, но вот глаза были усталые, будто потухшие, без веры.

Адъютант генерала с пустыми погонами есаула на широких плечах хитровато, чисто казачьи щурил глаза, и Федор сразу решил про себя, что этот казачий офицер самого Керенского в ломаный грош не ставит, да и презирает его при этом.

Два офицера, полковник и штабс-капитан, со жгутами аксельбантов на плечах, слушали премьер-министра с плохо скрываемой скукой, видать, со своими речами он им порядком надоел, как горькая редька. Но смотрели преданно – это какой же глупец столь спокойного и почетного места при председателе правительства лишаться будет. Полных идиотов вроде нет...

Стояли рядышком трое штатских, в дорогих костюмах щеголявших – даже выбриты хорошо, сытые, лощенные, уверенные в собственной значимости – или секретари, или помощники министра-председателя. Слушали своего патрона в пол-уха, иной раз перешептываясь между собой.

Были и женщины в строгих платьях, но с перстнями на пальцах и ожерельями на белых шеях, цены видно не маленькой. Керенского они не просто слушали, ему с упоением внимали. Глаза у бабенок шалые и мутные, будто речи на них добрым стаканом водки действовали, либо белым дурманым порошком – кокаином, новой господской забавой. Федор в госпитале его раз попробовал через ноздрю вздыхать, так потом костерил себя почему зря несколько дней – и денег стоят много, и хуже водки...

– Вы кто будете?! – Керенский подошел вплотную к Федору и уставился на него строгим пылающим взором. Казак разглядел даже маленькие капельки пота на лбу и висках нынешнего Верховного правителя России, довольно потасканного на вид.

– Господин верховный главнокомандующий, – казак привычно вытянулся во фронт, положив ладонь на рукоять шашки и отковыряв правой рукой. – Командир четвертого взвода Енисейской казачьей сотни старший урядник Батулин. Назначен в ваш личный конвой со своим взводом. По приказанию командующего корпусом.

– Енисейская сотня вызвана по моему приказу, Александр Федорович, – подошедший генерал Краснов пояснил ситуацию. – Казаки надежные...

– Вы говорили мне об этом, Петр Николаевич. Как вы думаете, гражданин, – Керенский опять уперся взглядом в Федора, – одержим мы победу над большевицкими узурпаторами, что воткнули нож в спину революции?!

– В мелкую капусту покрошим, вы только прикажите, ваше высокопревосходительство. С четырех сторон Петроград город запалим. Да за революцию мы всех этих германских наймитов и шпионов смешаем с говн... – Федор осекся, ругательство вовремя застряло в горле. И еще заметил, что при титуловании министра-председателя тот заметно поморщился, будто лимон пожевал, и решил впредь называть его господином главнокомандующим, но не вашим высокопревосходительством.

– Не надо так горячиться, мой друг, Петроград все же столица, – Керенский покровительственно похлопал казака по плечу и повернулся к генералу. – С такими молодцами, как ваши казаки, нам победа обеспечена и над узурпаторами–большевиками, и над кайзером, их высоким покровителем. А вы как думаете, есаул?

Свой вопрос Керенский задал появившемуся из-за спины Батулина командиру сотни. Коршунов чуть щелкнул каблуками и выпалил:

– Лихой казак, отлично показал себя в боях. У меня все такие казаки в сотне. Господин верховный главнокомандующий, дивизионные комитеты уже собраны и ждут вас на втором этаже!

Но не успел проделать Керенский и пары шагов к двери, как у него за спиной появилась дама приятной округлости, лет тридцати, а то и меньше. Подойдя вплотную к министру-председателю, женщина что-то тихо прошептала. Федор не расслышал, хотя уши наострил, что твой заяц.

– Говорите, отличный казак?! – Керенский вопросительно посмотрел на Коршунова. Поморщил несколько секунд лоб, улыбнулся чему-то и негромко сказал: – Таких награждать надо без промедления, ибо революция ценит заслуги перед ней. Я вас произвожу в следующий воинский чин...

Тут Керенский остановился, наморщил лоб в размышлении, стал мучительно жевать губами, не в силах выговорить какое-то слово. Наконец выдал:

– Подпрапорщика!

Не успел Федор осознать случившиеся и толком обидеться на столь вопиющее несоответствие, как тут за спиной председателя правительства вырос полковник и что-то прошептал.

– Я хотел сказать – подхорунжего, вы же казак. И помните, после победы над большевиками, если вы проявите доблесть, вам предназначены погоны офицера. А от вашего конвоя отказываюсь, идите в авангарде – революция должна победить. Приказ напечатать немедля, – последнюю фразу Керенский уже бросил своим секретарям и протянул Батулину ладонь.

Федор на радостях так сдвинул его мягкую ладошку, что Керенский поморщился и поспешил выйти из столовой. За ним гурьбой тронулись и остальные, на ходу поздравляя казака – кто хлопал его по плечу, кто просто пожимал руку. Удостоился Федор и генеральского похлопывания, и крепких офицерских рукопожатий, чему немало возгордился. Не прошло и

минуты, как обширная столовая полностью опустела – в ней остался лишь чуть растерявшийся Федор и эта женщина, с чьей подачи он обрел вождеденный чин...

Олха
(Семен Кузьмич Батурич)

– Я с утрачка всех опросил, староста ведь я или нет, – Василий горделиво выпятил грудь, но боле по привычке. Начальственные бляхи давно упразднили – революция по России идет, мать ее в скважину.

– И что, Василий Трофимыч? – уважительно спросил Семен Кузьмич, упрятав свой нрав поглубже. Казак с молоком матери впитывал в себя субординацию и дисциплину. Ведь сейчас перед ним сидел не родич младший, свой брат казак, коему в целях воспитания он с детства тумачков отвешивал, а сельский староста, то есть непосредственный начальник. Пусть у шурина нет таких прав, как у поселкового и тем паче станичного атамана, но власть старый служивый завсегда уважал, на то она и власть.

– Недовольными от меня ушли. Но не на Ваньку нашего, а на своих оболтусов, что сбежали, и со страху им палка шашкой показалась. Мыслю, пороть их сегодня люто будут, долго спать на животах придется, – и староста снова жизнерадостно засмеялся.

Однако Семен Кузьмич понял, что не за этим шурич пришел, а разговор у него к нему серьезный имеется. Да и жена уже давно это сообразила, брата знала как облупленного, с пеленок мокрых, ибо его вынянчила, так как старшей среди деток была. А потому стол был быстро убран, Иван отправлен на конюшню, а Анна с Полиной ушли на кухню мыть посуду – сын потом помойную воду из кадушки в выгребную яму выплеснет.

– Ты помнишь, Семен Кузьмич, как шестнадцать лет назад их высокоблагородие сюда приезжал, опрос на поверстывание в казаки в селах производил. Как его... Запомятовал...

– Войсковой старшина Путинцев, – без заминки ответил Батурич. Еще бы ему не знать, если офицеры посланной царем комиссии в его доме три дня квартировали. И говорили почти по душам, как казачий офицер с отставным заслуженным урядником говорить может, ибо нет тогда чинов – ведь оба по крови и духу казаки, это вам не армия...

– Мы же тогда все обратно в казачество запросились и почти всех новоселов уговорили. Введенская станица, без малого пять тысяч душ – почитай, все население Олхи, Введенщины, Баклашей, Мот, Акинина и Бутакова. И в Смоленщине с Максимовщиной, тогда многие крестьяне в казаки записались. А там, – шурич ткнул пальцем в сторону Саян, прокашлялся и продолжил говорить, горячо, с напором: – Вся Тунка и Култукское общество на переход согласились. И что? А ничего, наплевали на нас и забыли. Забыли, что у многих из нас кровь казачья течет в жилах. Отец с матерью у меня кто?! А деды-прадеды?! До сих пор врозь живем, все по отдельности – тут крестьяне из казаков, там казаки, а там просто крестьяне, старожилы иль новоселы. И вот я спрашиваю тебя – сколько казаков здесь было двадцать лет назад? А сейчас?

– У нас в Олхе два рода жило, твой и мой, а сейчас только одна моя семья в казачестве числится, – Семен отвечал угрюмо, так как Василий Трофимович задел самое больное место. – В Баклашах и Введенщине уже почти и нет казачьих семей...

– Ага. Все либо переехали в Иркутск или Медведево, либо в крестьянство перешли, как мы. А почему?

– Так земли своей нет, от крестьян зависим. А им плевать на нас – получайте надел как все, да земские сборы с него платите. А мы еще подати платили, лишь семь лет назад с казаков их убрали, ибо казак не платит налогов, а служит взамен. Ты сам смотри – кто с крестьянами в одном селе живет, тот мается всю жизнь в нищете. Пашни ему худые, земли малость самую отрезают. Вот ты – сколько земли имеешь?

– На четыре души у меня, Семен Кузьмич, ровно тридцать десятин пашни, выгонов и покосов. У тебя столько же, но на три души, – не удержался от ехидства староста. – И треть из них ты не обрабатываешь, а мне же в аренду сдаешь, хотя и берешь по-божески, грех жаловаться.

– А по закону у меня должно быть девяносто десятин, по тридцать на казачью душу. Как же на службу снаряжаться, ведь за коня и снаряжение до войны я двести пятьдесят рубликов кровных платил. А я трех снарядил, да теперь мне и четвертого снаряжать надобно. Это как?

– Это я понимаю, а ты крестьянам или новоселам втолкуй, им по боку, что ты казак. Ты сынов двух старших в Медведево переселил, там им полный казачий пай отвели из нарезанных отводов прошлого года. А почему сам не переехал туда же, как все, вам же, казакам, там чуть ли не две тысячи десятин земли на поселок отвели...

– Отвели. Наконец-то, полвека прошло, как без земли живем, от службы многие только пропитание имеют. Я бы хоть завтра туда съехал с превеликим удовольствием, со своими казаками жить. А дом, а хозяйство, а могилы пращуров моих? Куда деть прикажешь?

– Так переходи в общество, мы тебя с радостью примем. И от службы, и от тягот избавишься, от расходов на снаряжение. Ты же справный хозяин, рачительный, даже в городе недвижимостью имел...

– Многие подались из казаков, облегчение ища. Но я родился казаком и помру им, и родительский завет полностью выполню, детям и внукам накажу накрепко. Так что не ищай! А сами-то почему в крестьянах из казаков состоите, почто в простые крестьяне не приписываетесь?

– А потому и не приписываемся, что о той казачьей жизни очень многие помнят. И кровь казачья у многих. Вот и надемся вернуться, как закон примут. Бабы наши все рожают и рожают деток, а только крестьян казачьих сколько было, столько и осталось. Почему, спрашивается? Да ожидание всех нас замучило, вот в крестьяне и подаются от безысходности. Это наша земля, а власти ее новоселам дают, от нас отбирают. Это как же – хозяина грабят, а работнику пришлому дают?! Власть и вас, и нас как пасынков держала, завтрами кормила. А цыган сучку такими завтраками только неделю кормил, так она у него и померла от голода. А мы-то живем!

Переглянулись уныло родичи и взяли из коробки по папиресе. Дружно задымили – по горнице поползли сизые клубки. Отхлебнув из чашек по глотку остывшего чаю, шурин с зятем продолжили разговор.

– Вот войско организовали, земли вам без меры отрезали, даже лесные уголья и участки офицерские отводить стали. Дождались... А мы как же? Вы только тех крестьян из казаков обратно в сословие приняли, что в чисто казачьих селениях проживали...

– Так земли же не хватит, чтоб всех наделить...

– И я о том, Семен Кузьмич. Нет тут лишней удобной земли. Но леса-то много. Пусть наказного атамана у вас нет, и правительство закона не издало – но это будет, раз землей наделять стали. Ты уж обратись к своему полковнику, пусть и о нас власти вспомнят и всех старых и кровных в казаки заново переведут. Мы и бумагу соответствующую напишем, и благодарны будем. Земля у нас своя есть, леса только добавить бы надо для полного пая. А служить мы будем честно – но не конными, а пешими. На коня-то дохода у нас нету, земли удобной маловато, да и на лошадях мы не очень сидим...

– Это точно. Отвыкли. Как собаки на заборе, Василий Трофимыч...

– Да уж, – шурин деланно засмеялся и встал с дивана. – Ну, давай, прощевай. Пойду я, дел нынче много...

Оставшись один, Семен Кузьмич закурил папиросу и задумался. Сейчас его односельчанам оказываться смысла нет – лишних тягот и расходов добавлять на себя никто не будет. Любую тайгу со временем можно в пашню превратить, пустив пал или вырубив на дрова, а

потом раскорчевав. Но для того либо время нужно, либо деньги, чтоб работников нанять. После того как иркутские казаки стали служить по новому порядку – три года действительной непрерывно с двадцатилетнего возраста, а не пятнадцать лет прежних, по году службы и два льготы поочередно, время для хозяйствования появилось, и много. А деньги? Пешему трат в пять раз меньше, чем конному – это шесть лет выплаты крестьянином государственной подати. Но казаки-то ее не платят! Ох, и хитер Василий! Ничего не потеряют, а только приобретут от оказывания, если леса им всем добавят, и в пехоту, в пластуны переведут.

Ну и лукавы! Так вот почему разговор такой хитрый – одно дело, когда просто болтают кругом, но совсем другое, когда сам староста про бумагу, что только общий сход всех домохозяев принять может, говорит. На Енисее так многие крестьяне из казаков уже поступили, говорят об этом. И здесь начали шевелиться, выгоду учувствовав. То добрый знак, надо бы только войсковому правлению о том сообщить. Но это и Антон пусть скажет командованию, сегодня же с ним в Медведево встретится...

Семен Кузьмич позвал жену и стал с ее помощью облачаться в дорогу. На чистое исподнее жена помогла надеть теплое шерстяное белье, затем мундир. Ступни Семен обмотал толстыми байковыми портянками, вбил в меховые сапоги – хоть снег и выпал только неделю назад, и еще не наступили холода, но с возрастом кровь остывает, и себя в тепле беречь надобно. Шарф из козьей мягкой шерсти укутал шею, а на плечи легла форменная бекеша – и легка, и тепло бережет, и в седле в ней удобнее, чем в полушубке или холодной шинели. Папаха с кокардой довершили облачение старого казака. Плеть была засунута за голенище правого сапога, а на руки Семен Кузьмич натянул вязанные женой серые перчатки.

Посмотрел в зеркало – все по форме, правильно. Чуть годков скинуть, да погоны нацепить, так можно и в строй становиться. Одел через плечо шашечный ремень, поправил на груди, по въевшийся привычке проверил, как идет клинок в ножнах. Никогда не брал в поездки шашку, к чему вооружаться на своей земле. Но в последнее время стал – каторги распустили, скоро до отхожего места без берданки ходить боязно будет. Город грабежи и убийства захлестнули и уже к селам добрались. В Максимовщине крестьянина из казаков ограбили, смертным боем лупцевали – чуть душу из тела не вытряхнули. Ох, и лихолетье, время смутное...

На просторном дворе огляделся – напротив дом для молодых в две комнаты с печью. В селе у многих так, вроде и отселили, но вместе живут – и веселее, да и пригляд постоянный есть. Гуси лазили своими красными лапами по соломе, насыпанной поверх грязного снега. Гоготали радостно, пока не ведая о своей участи – скоро им под топор, потом в ошип и на коптильню, живот радовать. В добрых стаюках три коровы, две козы, свинья на опорос, с десяток куриц для яиц. На конюшне два мерина и кобыла рабочие, кобыла жеребая рядом да строевой конь Петра стоит на сохранении. Жрет овса много, а в повозку не запряжешь – то конь для войны, а не для тяжких работ. Красавец, монгольской породы, а потому низкий. Но вынослив, послушен и неприхотлив. Тоже выхолощен – нужно быть идиотом или лихим наездником, чтобы свою судьбу в бою своенравному жеребцу доверять. А потому на службу выходят на кобылах али на меринах...

– Батя, давай я повозку запрягу, куда ж ты вершки, – Иван уже оседлал Мунгала, подошел к отцу и вопросительно посмотрел. Семен ласково глянул на сына, оба уха которого уже походили друг на друга, как близнецы. Беспокоился сын – все ж возраст у отца не молоденький, из ополченческого разряда давно вышел.

– Тракт раскис, повозка худо пойдет по грязи, сынок. А верхом я втрое быстрее доеду, да и Мунгала погонять надо, а то застоится строевой конь, жирком потянет. Да и сам проветрюсь, молодость свою вспомню. Али у тебя в Медведках зазнобушка есть?

Сын покраснел, подошел к стремени, взял ладонью. Не птицей взлетел в потертое седло Семен Кузьмич, молодость прошла уже, но и без помощи, только Иван стремя подержал и тут же побежал ворота открывать. А жена коня под узду рукою взяла и со двора вывела. Так она

всегда мужа провожала, все сорок пять лет их совместной жизни. Батуриным наклонился в седле, поцеловал Анну, выпрямился, взял левой рукой поводья и чуть сжал колени – почувствовал легкие шенкеля, конь спорым шагом пошел по тракту.

Приветливо раскланявшись с молодками в расшитых цветных платках, Семен бросил взгляд вправо – высокая сопка с известковой скалой посередине высилась над Олхой. В седую старину называли ее «Казачьей» первые поселенцы, так и прижилось название.

И сразу раздвинулся в стороны распадок – за крайними домами раскинулось большое олхинское поле, верст в семь в поперечнике, с редкими островками кустарников и одиноких сосен. Изрядный кусок степи в таежном крае, но не один он тут, до самого Иркутка и далее такие поля есть. Оттого и заселились здесь при царе Алексее Михайловиче первые казаки, что на землю эту с боем пришли. Олха ведь бурятское название, искаженное, правда, а означает оно место, где бьют зверя.

К великому сожалению, бурятский язык Семен Кузьмич не знал, так, всего с десяток-другой слов. Это тункинские казаки, что с бурятами издревле живут, да и породнились с ними на семь рядов, язык их знают. И чертами лиц многие похожи, да так, что иного казака от бурята не отличишь. Гуранистые станичники, ничего не напишешь.

И огорчился старый казак – эх, знать бы ему, что сказал тогда старый шаман перед смертью. А ведь жизнь круто изменилась – Григорию через три дня гибель выпала от пули спиртоноса, а роду Батуриных нежданное богатство подвалило. Хозяин прииска, гофмейстер императорского двора, по счастливой случайности в тот год свое хозяйство решил провести и приехал из Петербурга. Золотого божка он купил сразу, как увидел, щедро выдав казакам девять тысяч рублей на троих. И обмолвился на радостях, что отдаст сего божка чуть ли не лично самому наследнику престола, будущему императору Николаю Александровичу.

А спустя день Семен спас хозяина от пуль спиртоносов, на которых они нарвались на узкой таежной тропке. Григорий погиб сразу, получив пулю в голову, а Батуриным удалось подстрелить двоих и тем отбить у других охоту, а заодно и увести контрабандистов от гофмейстера, который хотел набраться таежных приключений. Набрался по самую задницу, их высококордие, мать его...

За свое спасение хозяин оплатил сторицей – пять тысяч рублей выдал казаку, и семью Григория не обидел. И замолвил словечко, походатайствовал – через месяц Семена произвели в старшие урядники, наградили медалью «за усердие» и золотыми часами на цепочке. А позже еще знаком отличия святой Анны командующий округом пожаловал. И круто изменилась казачья судьба-судьбинушка, из беспросветной нищеты, от горестных мыслей о переходе в крестьянство, в крепкий достаток кинула...

На известковых каменоломнях, что исстари иркутским городским казакам принадлежали, работа давно встала из-за наступивших холодов, никого не было, только качалась на ветру сорванная с одной петли дверь ветхого сарая. Иркутские казаки Могилевы и Баженовы добываемую здесь известь продавали иной год по сто возов в городе. Товар сей ходовой – и стены побелить, и печи. А потому целыми казачьими поколениями известь сию продавали – сколько себя Семен помнил.

Но сейчас сплошная отрава сердцу – остались в Олхе только три старых «казака»: сопка, каменоломни известковые, да Семен Батуриным. А боле казачьей старины здесь и не осталось...

Остров
(Федор Батуриным)

– Приказ я сама напечатаю, а Александр Федорович его подпишет сразу после встречи, – женщина подошла вплотную к казаку, упершись в его грудь своим роскошным бюстом. Казак скосил глаз – под тонкой тканью платья чуть колыхались привлекательные полушария.

– Ты храбрец, казак, и я должна быть твоей наградой, нынче же. И я буду ей. Как собрание завершится, я буду ждать тебя в последней комнате по коридору... с приказом, – женщина чуть коснулась губами щеки казака и на мгновение так крепко прижалась к Федору, что новоиспеченный подхорунжий моментально покрылся потом. Она отстранилась от него, обольстительно улыбнулась и, зазывно двигая бедрами, вышла из столовой.

Рукавом Батуриной стер пот со лба – казак понимал, о чем идет речь. Вот только большого желания у него не было, хоть женщина была привлекательна, да и сама навязывалась. Но что здесь поделаешь – убойное было для него это сочетание – революция и баба, баба и революция. И яркие воспоминания нахлынули на смятенную душу казака...

– Да здравствует революция! Слава революционным казакам! – восторженные вопли иквальных ветром проносились над заснеженной Амурской улицей, по которой плотными шеренгами проходили в конном строю две сотни иркутских казаков.

Федор был крайним в шеренге и, покачиваясь в седле, со сладким чувством в душе слушал хвалебные речи. Да и как не гордиться казаку – горожане радовались, красные флаги реяли на ветру, полицейские и жандармы попрятались, а офицеры, с которых слетело все их высокомерие, откровенно заискивали перед мятежными казаками.

Со времен отчаянной головушки, донского казака Емельки Пугачева, казаки не выступали вооруженной силой против царя-батюшки. И вот в далекой Сибири, в городе Иркутске, на улицах под красными флагами идут станичники, что силой разогнали гарнизонную гауптвахту и освободили всех арестованных революционеров. И стали полными хозяевами города вместе с восставшими солдатами – губернские власти были порядком напуганы и бездействовали...

– Казак, иди ко мне! Нужна помощь, – Федор оглянулся. Он не ошибся, именно к нему обращалась девица в потертой серой шубке. Батуриной спрыгнул с седла, отдал поводья своей кобылы Степану Елишину и, придерживая шашку рукой, подошел к молодой женщине.

– Какой молодец, – сказав эти слова, она крепко прижалась к Федору и подняла на него большие глаза, – я хочу тебя любить, за революцию! Задарма... – как-то непонятно закончила девица и, крепко ухватив казака под локоть, поволокла в сторону ближайшего дома с красным фонарем на фасаде. Федор в растерянности оглянулся – улыбающийся Степан помахал ему рукой, как бы говоря: «иди, мы подождем».

Девица ввела Федора в дом и поднялась с ним по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, втолкнув казака в какую-то каморку. Кроме кровати под покрывалом из цветных лоскутков, там ничего не было – ни утвари, ни мебели. Да и вряд ли что могло еще поместиться в комнатушке, еле освещенной первым зимним днем.

– Да снимай же все, не стой истуканом! – девица крепко ухватилась за ремень и потащила винтовку через голову. Чисто машинально казак ухватился за цевье. – Да ты что?! – она искренне изумилась. – Хотя... Давай, меня так никто еще не пользовал – в шинели, с винтовкой, при шашке... Как романтично будет...

– Так ты для этого меня позвала? – отвалил челюсть молодой казак и мучительно покраснел. У него еще ни разу не было женщины, и он испугался, возможного сраму испугался – это не девчонок в селе тискать. Опыта не было – в селе за порчу девки головенку вмиг открутят...

– А как же! И мы должны революции один день послужить! Бесплатно. А откуда у молодого казака или солдата деньги... А-а... Так у тебя еще не было женщины, – догадалась девица и плотоядно улыбнулась. – Ну, то горе поправимое!

Она тут же прижалась к Федору и крепко поцеловала казака в губы. У нее были теплые ищущие губы и проворный язык – Батуриин задохнулся от удовольствия, и его забила нетерпеливая дрожь ожидания. А проворные девичьи руки принялись разоблачать служивого...

Через неделю казаки опамятавались, принесли повинную. Командование не налегало на репрессии – земли нет, от полицейской службы на золотых приисках, которая оплачивалась весьма прилично, казаков отстранили за два года до революции. И что делать станичникам прикажите, как голодные семьи кормить? А потому военные власти зашевелились – и служить стражниками на приисках разрешили, и землеустройство начали. Но то позже было, а в ту неделю раскаявшихся казаков «строили и равняли». Федора не трогали – молод еще, да и не бунтовал, против властей не выступал с речами...

Но всю эту неделю Батуриин пребывал в отчаянии – не поражение революции его беспокоило, про нее он и думать забыл, а те маленькие зловредные блошки-вошки, что поселились в паху и приносили невыносимые страдания. Эта мерзкая проститутка наградила его подлыми тварями, и хорошо еще, что не дурной болезнью (только через год Федора смог полностью успокоить знающий и опытный врач, нанеся уцерб в двадцать целковых за осмотр и анализы, которые с кряхтением заплатил отец).

Какие тут размышления о судьбах революции – казак почти целую неделю ожесточенно воевал с ушлыми насекомыми. Мыло с гребешком не помогли – от пенной воды они не убежали, а вычесать гребешком оказалось делом затруднительным – казаку чудилось, что вместо одной вычесанной твари появляются две новые, более злобные и охочие до его тела. Обтирание спиртом дало отнюдь не спасительный эффект – твари не сдохли, а опьянели и с утроенной энергией принялись за кровососание.

Казак боялся даже нечаянно почесаться – он хорошо знал насмешиливость сослуживцев. Однако сохранить тайну не удалось – Степан о чем-то догадался и прямо спросил «сынка» – так старослужащие казаки-«дядьки» называли молодняк. Федор со слезами признался в своей беде...

– Помогу несчастью, – сказал обстоятельный Степан, что чуть ли не в отцы ему годился. – Поймай живьем десяток сих вошек, засади их в банку и накрой крышкой, чтоб не разбежались. А потом сбегай и купи большую бутылку водки и закуски хорошей.

Федор быстро сбежал в монопольку, купил штоф зеленого стекла с засургученным горлышком. Затем он забежал в лавку за хлебом, сыром, буржениной и копченым омулем, прихватив луковичу и головку чеснока, и галопом помчался обратно, к спасительному лечению, неся магарыч расфасованным по разным закуткам длинной кавалерийской шинели.

Вот только это было началом – за спасение пришлось отслужить. Казаков просто достал каптенармус Никитка Метляев – по четверти от каждого фунта овса недодавал. И на том большие барыши имел – мешок овса в день прикарманивал вороватый приказной, который к тому же обманывал казаков и с сеном. А деньги спускал на выпивку да на падших бабенок, до которых был zelo охоч, погуливая от жены. И хитрый был – жена в сотне шагов от казармы в собственном доме жила, дочь богатых казаков Могилевых (что известно торговали), а сном-духом не ведала.

Такое поведение каптенармуса требовало наказания, и орудием мщения Степан избрал несчастного Федора – напоить прижимистого приказного водкой до бесчувствия, благо тот пил без меры, а Батуриин был почти трезвенником, и всыпать в мотню отловленных блох. Федор только вздохнул от такого коварства, но своя рубашка ближе к телу, и отправился к зловредному каптенармусу...

Дело прошло как по маслу – напоив Никиту в каптерке до бесчувствия, Батуриин высыпал спящему в мотню под исподники отловленных кровососов, а сам побежал к Степану за исцелением. Заветное лечение оказалось простым – сам себе выбрил волосы на причинном месте да смазал там дурно пахнувшей мазью, что достал где-то запасливый «дядька».

Но на этом история не закончилась – через два дня в казарму прорвалась разъяренной фурией жена Метляева, статная казачка с мощной грудью, выше тещеушного мужа на голову, пудов шесть веса, с большими кулаками. Дневальный был отброшен в сторону как пушинка, а баба схватила мужа за шкирку, выволокла его во двор, паскудя по дороге такими словами, что многие казаки ошалели. Выбегать следом никто не рискнул – всем жизнь дорога, но к окнам сразу прилипли, друг дружку тесня и локтями отпихивая.

То, что увидел Федор, он больше не только не видел, но о таком и не слышал. Баба держала мужа на весу, ухватив за грудки одной рукой, а другой отвешивала пощечины. Хорошо, что не кулаком, насмерть бы его убила. Молодой офицер, сунувшийся было из штаба на пресечение безобразия, получил такую гневную тираду, что спал с лица и, забыв обо всем, мгновенно ретировался с поля брани. Сурово наказав своего блудливого супруга, женищина горделиво передернула могучими плечами и ушла.

А каптенармус на целую неделю впал в глубокую задумчивость, перестал воровать, только шепелявил себе тихонько под нос, да постоянно загибал пальцы, что-то подсчитывая. А через месяц всех казаков старших возрастов демобилизовали, ушел и Степан, и проученный Метляев. Федор получил наглядный урок и боялся теперь женитьбы как огня. Мало ли отец ему кого подберет – и оплеухи давать будет, и вилами наградит.

Но женился казак через три года на милой глазастой девчушке, для которой он стал первым и единственным мужчиной в ее жизни, и полюбила его Тоня пылко, и ласкала нежно – какие уж тут оплеухи...

Медведево
(Семен Кузьмич Батулин)

Мунгал шел ходко. И потянулись версты – справа Олха петляет вдоль длинного хребта на десяток верст, слева лесостепь, что до Иркутка тянется, а впереди, еще далеко, показались крыши ладных домов Смоленщины, большого старожильского села, в прошлом казачьей станицы. Так уж повелось в Сибири, что поселенцы зачастую называли свои села именем далеких родин – вот и стоят Смоленщина, Московщина и прочие...

Делать остановку в селе Семен Кузьмич не стал, только перекрестился на церковь. Вброд перешел мелкую Олху, что здесь недалеко в спокойный Иркут впадала, да заставил шенкелями Мунгала прибавить хода, перейдя в ходкую и тряскую рысь. Две дюжины верст за пару часов для строевого коня отдых, а не поход – резво рванул, только снег из-под копыт отлетал в разные стороны. Скакал казак вдоль того же хребта, что уже шел на север, вот только слева тракт поджимал широкий Иркут, медленно кативший свои воды в величавую Ангару.

На той стороне реки вдалеке виднелись крыши Максимовщины, старинного казачьего села, где казаков сейчас осталось только три двора. Сыновья атамана Максима Перфильева основали заимку двести пятьдесят лет тому назад и назвали ее по имени своего легендарного отца, что несколько сибирских острогов заложил и край этот царям подарил. Крестьяне просили у казаков позволения на их землях поселиться, и те соглашались – а зачем отказывать, если много всего. И до тех пор хорошо все шло, пока пришлые числом казаков значительно не превысили, а там началось то, что и в других казачьих селениях происходило – была земля ваша, а стала наша, а теперь убирайтесь прочь, господа казаки, мы свои порядки введем...

Сплюнул от обиды Семен и ожег плетью Мунгала – тот в галоп перешел. От Смоленщины семь верст до Медведево – откормленный конь прошел их на одном дыхании. Завидев знакомую цель, Мунгал припустил еще шибче – понимала умная тварь, что конец пути уже совсем близок, и ждет его вскорости теплое стойло и душистое сено.

Сразу за Синюшиной горой открылось большое поле – то казачьи владения пошли. Впереди, версты через четыре, виднелась Глазковская гора, слева синей лентой катил свои воды

кормилец Иркут, а вдалеке справа, за сизой каймой тайги шла Мельниковская падь – там кончались казачьи наделы.

Сам казачий поселок Медведево раскинулся между Иркутом и Чертовым озером (из-за поганости своей так названным), а покосы шли аж до устья узкой речушки Кая, что от Мельниковской Пади аккурат под самой Глазковской горой текла и в Иркут впадала. А на горе той предместье города Иркутска стоит, с вокзалом железнодорожным у подножия на другой стороне, где уже воды свои величаява красавица Ангара к Енисею несет.

Мал казачий поселок, и трех десятков дворов не набирается, даже школы собственной здесь нет – казачата в Глазково учатся, благо недалеко. Но двадцать лет назад дворов вдвое меньше было – разросся поселок за счет олхинских, максимовских, баклашинских да введенских казаков, что от притеснений и безземелья съехали с родных мест. Но крепки казачьи дома, нигде нет покосившихся заборов или ветхих строений, которых пруд-пруди в крестьянских селениях, особенно у новоселов.

Жили здесь издавна крепко – хоть земли было мало. Пока дорогу железную вокруг Байкала не построили, зимний извоз выручал. От Култука тракт торговый зимой по Иркуту шел, а Медведки – последний поселок перед Иркутском. Тут купцы и прихорашивались маленько, в бане мылись, лошадям роздых давали – и во всей красе в город катили на следующий день.

А летом казаки лес в верховьях рубили и сплавом его по Иркуту занимались. Огромный город, где чуть ли не сто тысяч жителей, уйму дров потреблял весь год – работы хватало. Но и хлеб растили, конечно, и овощи разные, рыбу продавали всякую – соленую, свежую и копченую. Покупатель всегда находился, горожанам ведь есть-пить тоже охота. Семен Кузьмич из Олхи весной (цены выше тогда, ибо осенние припасы заканчиваются, а новых нет) в город пять-семь подвод с мукой, овощами, соленьями-копчениями разными постоянно отправлял...

Только за Синюшиной горой Семен Кузьмич придержал Мунгала, перевел на шаг. Сейчас торопиться ни к чему – у внучат глаза острые, разглядят верхового казака на таком расстоянии и сразу же сообразят, что дед едет, ибо нет за Смоленщиной других казаков, кроме старого Батурина. И еще раз горестно вздохнул отставной служивый – кругом казачьи имена, а казаки давно изгоями на родной земле стали. Взять хоть предместье Глазково, что казак основал...

У крайнего двора Акундина Медведева стояли три оседланных лошади, а четверо казаков, с желтыми лампасами, в шинелях и башлыках, при шашках и в сдвинутых набекрень папах гулеванили, прикладываясь поочередно к горлышку пузатой бутылки.

Дело житейское – на побывку домой приехали казаки из дивизиона, вот и пьют на радостях. А что еще делать казакам прикажите, лучше уж этот день потерять, но отдохнуть на славу от казарменного бытия, а с утречка и по хозяйству поработать можно. Хорошо отдыхают казаки, всласть, как полагается. Углядев верхового, служивые развернулись поперек проулка и в четыре луженые глотки песню разухабистую разом загорланили:

За Аргунью, ой да за рекой, казаки гуляют!

Эх, эх, живо не робей, казаки гуляют!

Эх, эх, живо не робей, казаки гуляют!

Они свои каленые стрелы за Аргунь пуцают!

Эх, эх, живо не робей, за Аргунь пуцают!

Эх, эх, живо не робей, за Аргунь пуцают!

Горланили весело, с задором, видно, приняли уже немало. Песня была старая, забайкальская, из тех времен, когда иркутских казаков отправляли туда на помощь в караулы, набег немирных мунгалов и маньчжурцев отражать. Оттуда на Иркут и привезенная дедами-прадедами.

Они, братцы, ой да мало спят – в поле да разъезжают!

Эх, эх, живо не робей, в поле да разъезжают!

Эх, эх, живо не робей, в поле да разъезжают!

Забайкальцы, ой да храбрецы, brave робяты!

Эх, эх, живо не робей, brave робяты!

Эх, эх, живо не робей, brave робяты!

Песня была бодрящая, глотки луженые, так что Семен Кузьмич заслушался ребят. А те не унимались, разливались соловьями.

Они, братцы, ой да молодцы – водку пьют, гуляют!

Эх, эх, живо не робей, водку пьют, гуляют!

Эх, эх, живо не робей, водку пьют, гуляют!

Сладко выпьем, ой да поедим – все горе забудем!

Эх, эх, живо не робей, все горе забудем!

Эх, эх, живо не робей, все горе забудем!

И тут казаки добавили от себя такую похабщину, что у Семена Кузьмича, всю свою жизнь знавшего только одну женщину, Богом данную жену Анну, под папахой покраснели уши. Ох, и острые глаза у служивых – и углядели, и узнали, и сразу деда подковырнули. Его уважали, как и любого старика, но это не избавляло от таких вот приветствий – у каждого найдут станичники любимую мозоль и тут же на нее и надавят. Палец в рот не клади...

– Здорово дневал, Семен Кузьмич, – Пахом Фереферов, рослый усатый казачина, с двумя лычками младшего урядника на желтых погонах, вышел на дорогу, пьяно покачиваясь на ногах. – С властью тебя новой. Керенского большевики того, по самую... – и казак сделал такой выразительный в своей хулительности жест, что Батуриин тут же поперхнулся ответным приветствием, а казаки радостно заржали, давась смехом. Ох уж этот Пахом, бабник, срамник и пьяница, но казак работающий и храбрый. И тут же приветил их:

– И вам здорово. Ну и похабники же вы, хоть моих седых волос постесняйтесь. Не порол я вас, когда мальцами без штанов бежали...

– Это точно, дед, повезло. Антон вон Глашке своей сразу к подолу припал, видать, шибко ты его порол. Застращал казака, тоже не пьет и на сторону к жалмеркам не бегают...

Дружно и весело ржут казаки, как лошади, но дорогу освободили и руками приветственно старику помахали. А выпить не предлагали. Все знали, что природа жестоко обидела всех Батуриных – коли выпьют хоть полчарки, тотчас выворачивает их страшно, будто изнанку свою выbleвывают. Впрочем, не всех – Федор, второй сын, мог выпить немного и не блевал при этом, как худой котенок. Так то, наверное, от матери, от рода Кошкиных, передалось.

Миновав два двора, Семен Кузьмич подъехал к третьему – большой пятистенок, наличники с затейливой резьбой, крытая железом крыша, добротные постройки, крепкий забор из плотно пригнанных досок, свежеекрашенных в синий цвет. Его ждали – тесаные ворота раскрыты на всю ширь, а сын Антон, простоволосый, в гимнастерке без ремня, но с крестом и медалями на широкой груди, тут же взял Мунгала под узду и ввел коня во двор.

Семен Кузьмич тяжело сполз с седла, заботливо придерванный сыном, с чувством перекрестился. Доехал...

Остров

(Федор Батуриин)

Батуриин вырвался из сладкого омута воспоминаний и, памятуя о долге, побежал на второй этаж. Уже на лестнице он услышал громкий и призывный голос Керенского, но, заглянув в зал для собраний, Федор обомлел. Вроде бы всех штатских удалили из здания, а просторный зал был забит ими более чем наполовину.

В первых рядах сидели донцы и с упоением внимали крикам Керенского, уже слышанным Батуриным внизу – «Завоевания революции в опасности», «Русский народ самый свободный народ в мире», «Революция совершилась без крови – безумцы большевики хотят полить ее

кровью», «Предательство перед союзниками» и прочие довольно избитые митинговые лозунги, зачастую не имевшие между собой связи.

А представители его Уссурийской дивизии, в отличие от донцов, вели себя совершенно иначе, развязно – злобно зыркали глазами на Керенского, громко шушукались между собой и звучно, на весь зал, материли «временных» министров. Раздался даже выкрик маленького круглолицего урядника из первого Амурского полка: «Неправда! Большевики не этого хотят!»

Однако казака зашикали, и, когда министр-председатель закончил свою истеричную речь, раздались даже аплодисменты, но только какие-то жидкие и негромкие. Федор был сильно разочарован – вместо стальной речи и четких приказов правитель России повел себя как митинговый склочник. Не так он мыслился Батурину и другим казакам.

За спиной он услышал тихую бурятскую речь и скосил глаз. Малков что-то бормотал сквозь зубы с отрешенным видом. Над ухом Федора склонился язвительный Петька Зверев, что родным племянником ему приходился – первенец старшей сестры Анны, и тихо пояснил:

– Удивляется сильно наш Хорин-хон, вроде спрашивает – и это правитель России?!

Но, несмотря на удивление и некоторое разочарование, донские и енисейские казаки громко поддержали Керенского. Забайкальцы из первого Нерчинского полка выразительно промолчали, но было ясно, что идею с походом на Петроград они явно не разделяют, как и их соседи – угрюмые приморские драгуны. Уссурийские казаки только ворчали, и нельзя было понять – пойдут они на столицу или не пойдут. Однако выступили против только амурские казаки, громко обхаяв министра-председателя. Заводилой у них стал маленький злобный урядник, что пытался сорвать выступление.

– Мало кровушки нашей солдатской попили! Товарищи, перед вами новая корниловщина! Помещики и капиталисты! – с упоением ненавистью кричал амурец, а Федор недоумевал – ну ладно капиталисты, но откуда на Амуре взялись помещики?! Их там отродясь не было, как и по всей Сибири. И какая здесь солдатская кровь, если кругом одни казаки...

– Довольно! Будет! Остановите его! – закричали из первых рядов донцы, вскакивая с мест.

– Нет, дайте сказать! Товарищи! Вас обманывают... Это дело замышляется против народа...

Федор только покачал головой, глядя на растерявшегося Керенского, и поймал требовательный взгляд генерала Краснова. Ему стало ясно, что тут надо предпринять и он подошел к орущему уряднику:

– Чего орешь?! Чай не на митинге! Или сам решил председателем правительства стать? Так тебя даже кобылы слушать не будут, – стоявшие рядом с Батуриным енисейцы зло засмеялись.

Урядник бросил на них ненавидящий взгляд и отступил к своим амурцам, которые тут же плотно сбились в кучку. Но вот орать разом прекратили, лишь яростно сопели – и дураку понятно, что если драка начнется, то получают они по первое число, ибо енисейцев намного больше в зале, да и донцы последним, если что не так пойдет, помогут.

Утихомирив кое-как амурских казаков, большая часть которых искренне считала себя большевиками, Федор спустился по лестнице и наткнулся на командира сотни, в руках которого был белый листок бумаги и желтые погоны с широким продольным галуном серебристого цвета.

– Держите новые погоны, господин подхорунжий! Поздравляю от всей души! – Петр Федорович дружески похлопал казака по плечу. – Я тебя к вахмистру три месяца назад представлял, да в Уссурийском полку заворотили, сам знаешь, как к нам там относятся. А тебя премьер через чин провел – иди, поблагодари, два часа времени даю. Повезло тебе! Эх-ма, такая женщина! Мне б такую! А потом на погрузку в эшелон беги...

Батурин поплелся в конец коридора, волоча налившиеся чугуном ноги. Боязно стало казаку – полтора года в окопах провел, без водки и баб, верность жене блюл, а тут такой случай.

И не идти нельзя – долг всегда платежем красен. А ежели заразу какую подцепит и Антонине потом привезет?! В растерянности казак остановился, присел на стул, достал из шинели пачку папирос и закурил, сломав несколько спичек дрожащими пальцами. Уж лучше в атаку еще раз сходить, хоть и страшно до мокроты в исподниках, но зато нет горького осадка безысходности...

– Семеныч! Фу, еле добежал, – родной племянник, подчиненный и верный друг, Петр Зверев присел рядом на колченогий стул. – Боишься бабы?

– Боюсь, а вдруг заразу какую-то от нее подцеплю, – искренне ответил ему Федор, никогда ничего не скрывавший от родича. А тот прекрасно все и сам видел, с чьей подачи Федор производство через чин получил.

– Держи. Английского мастера Кондома изделие. Врач, пока в госпитале лежал, мне их задешево продал. По пять рублей за штуку керенками заплатил. На, возьми вот две штуки. Они особо для охочих баб сделаны – орут во всю глотку, сам проверял. Иди, не робей, братка, через эту ткань ничего не будет, железно. И не бойся греха – пока казак воюет, ему любой грех Господь отпускает. Да что там прелюбодеяние, мы же убиваем, пост не блюдем... Эхма, – Петр сунул в широкую ладонь дядьки, что был всего на шесть лет старше, два пакетика и, поднявшись со стула, пошел к дверям.

Федор повеселел – об этой штуке он уже слышал. Правда знающие казаки говорили, что с ней бабу любить никакого удовольствия, будто в полной форме и сапогах купаться на речке. Так Федор не за приятностью шел...

Комната пребывала в полумраке из-за задернутых штор, а на широком кожаном диване была заранее расстелена постель. Она его ждала... И слов между ними не было произнесено. Нагая женщина, трясясь в лихорадке, быстро раздела казака и, крепко прижавшись к нему горячим телом, рухнула на диван. Верность жене улетучилась из головы Федора – он захотел ее. Но не забыл казак о дружеском подарке, натянув его и подивившись жесткой шершавости неведомого изобретения. И навалился на нее всем телом...

– А-а! Что это?! Больно же! Не надо... – женщина ужом вывернулась из-под него, схватила ладонью за причинное место и сдернула жесткий гильфик. Поднесла его к глазам и удивленно спросила:

– Зачем это? Ты болен?

– Нет! – Федор замотал в отчаянии головой. – Я это... Только жена у меня, ни с кем я... Вот приятель и дал...

– Глупышка, – ласково пропела она грудным голосом, – я здорова, у меня муж, двое девочек. Просто я сильно захотела настоящего мужчину. Очень сильно! Не стыдись, ведь и у тебя долго женщины не было?!

– С марта прошлого года, с женой я только был, – кое-как выдавил из себя Федор.

– И я с мая... – тихо произнесла женщина, – муж у меня профессор, Бадмаев ему какой-то артефакт дал. Он обо мне и детях напрочь забыл, только этот идол да проклятая революция у него на уме. Импотентом стал...

– Кем, кем?

– Мужская немощь у него! Бессилие! Стариком уже стал. Иди ко мне...

Устоять Федор не мог, да и плоть заново восстала. Навалился на нее, ворвался... и кончил. Казак со стыда сжался, оскандалился же ведь, сраму-то. А она не обиделась, ласкать нежно стала, прижалась мягкой грудью.

– Что ты, что ты, не переживай, казак мой. Так бывает от долгого воздержания. Сейчас наладится...

Под ее ласками все наладилось, и они миловались с упоением, вжимая друг в друга мокрые тела. И так было долго, пока не насытились и без сил не легли рядом, крепко обнявшись.

– Не спрашивай только, как меня зовут, незачем. Пусть я останусь для тебя прекрасной незнакомкой. Ты молодец, только береги себя. Думаю, дня через три-четыре, как в столицу войдете, ты хорунжим станешь, а то и сотником. Офицерские погоны лягут на твои крепкие плечи. Только я боюсь одного – не тот человек Саша, совсем не тот. Чтоб сейчас у власти в России удержаться, нужно жестоким диктатором быть и крови не бояться. А он?! Эх, горе наше, демагог, право слово...

– Кто-кто? – Федор сразу не понял, что речь идет о Керенском.

– Болтун, краснобай. Баюн! Десять лет его знаю, вроде друга семьи он! – резко ответила женщина и отчаянно прижалась к казаку.

– Брось об этом. Люби меня, не жалея. Хочу... Ну давай же, у нас очень мало времени...

...В сумраке комнаты молочной белизной отсвечивали ее бесстыдно раскинутые ноги – женщина крепко спала. Федор быстро оделся, намотал портянки и натянул сапоги, туго затянул ремень, поправил складку на своей потрепанной шинели.

Казак с грустью посмотрел на свою нечаянную любовь. У нее есть все – деньги, муж с положением, дом в столице, но нет сейчас самого главного – твердой мужской опоры. А у него нет здесь ничего, кроме крестов, дедовских лампас, да прострелянной шинели. И еще в кармане лежат новые погоны подхорунжего. Зато его ждет в Иркутске любушка, детки, отец с седой бородой, дом, братья... И плевать на богатство и власть, у него казачья доля, и нет ничего почетней, слаще и горче...

Федор бережно накинул на женщину одеяло, поправил ремень шашки и вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь.

Медведево

(Семен Кузьмич Батурич)

– Здорово, батя, – сын крепко сжал отца в объятиях. Похож на него полностью, словно точная копия. В русой бороде и на висках поблескивают серебряные нити. Не молоденький уже Антон Семенович, сорок третий год казаку скоро стукнет.

– Деда прискакал, деда!

Целый выводок ребятни ворохом посыпался на старика, терзая бекешу, шашку, смахнув папаху с головы. Семен Кузьмич только успевал на ласку отвечать, то одного, то другого погладить. Суматохи добавляла собака, которая радостно скулила и гремела цепью.

– Цыц! – чуть рывкнул на пса сын и добавил для детей: – В доме намылуется, устал дедушка.

Подхватив отца под руку, помог подняться по высокому крыльцу. Напротив крыльца стоял почти такой же дом – сыновья не отгораживались забором друг от друга, а жили дружно, заедино...

Миновав холодные сени, Антон открыл дверь, и Семен Кузьмич зашел в дом, окунувшись с порога в комнатное тепло. Семь лет назад Батурич не стал скупиться, благо деньги были немалые, а построил обоим старшим сыновьям почти такие же дома, как родовой в Олхе, только размерами чуть меньше. И крытым крыльцом соединенные. И потому повеяло на него сразу чем-то родным, обжитым.

– Здравствуй, батюшка, – высокая и статная невестка, Глафира Петровна, в нарядном шерстяном платье с бусами на шее, с накинутой на плечи шалью с кистями, встретила его глубоким поклоном.

Дождавшись, когда свекор перекрестится на образа в правом, красном углу залы, она с улыбкой протянула ему резной деревянный ковш. Старый казак взял емкость двумя руками и

стал пить теплый ягодный взвар, проливая сладкие капли на бороду. Выпил в охотку, утолил жажду и протянул ковш обратно хозяйке:

– Здорово, доченька. Взвар у тебя всегда на ять. Хорошая женушка досталась моему сыну!

Услышав такие слова от скупого на похвалы Семена Кузьмича, Глаша зарделась, как маковый цветок, и чмокнула свекра в щеку. Затем она и сын разоблачили отца и усадили его на привычное место у окна – любимые папиросы Семена Кузьмича Антон всегда держал на столе, хотя сам никогда не курил. Прикурив от зажженной спички, поданной сыном, старик выпустил из ноздрей хрящеватого носа густой клубок табачного дыма и только сейчас почувствовал усталость.

Из кухни ему было хорошо слышно, как наполнилась горница радостными детскими голосами, как часто хлопала входная дверь дома – медведевские Батурины в предвкушении раздачи подарков исходили томлением.

Но Семен не стал торопиться, а взялся за большую чашку горячего пахучего чая – хозяйкам ведь нужно время, чтобы самим подготовиться и отпрысков принарядить. И хоть за эти два десятка лет он никогда не заставлял Глафиру врасплах – та всегда исхитрялась то шаль на плечи накинуть, то платок, то даже успеть переодеться, но зачем невесток суетиться заставлять.

Да и чай попить старый казак любил, как почти все старожилы и казаки в Забайкалье и Прибайкалье. Вот только пил незабеленный, и тем более не «сливан» с молоком и бараньим жиром, а черный, крепко заваренный, что большими плитками продавался в меновом Туранском карауле. И с малиновым вареньем вприкуску, с печеньем домашним да с изюмчиком. И сейчас невестка расстаралась и блюдца расставила...

Всласть напившись чаю и накрыв свою пустую чашку блюдцем, Семен Кузьмич поднялся с удобного стула и пошел к диванам. Батурины уже давно были в сборе, ерзали по лавкам с резными спинками, что похожи были на городские диваны – то умельцы постарались. Сын надел новую гимнастерку со всеми регалиями, туго перетянул ее ремнем, расчесал бороду и волосы, распушил усы. Его жена Глаша переделась в цветное нарядное платье, толстая женская коса, свитая жгутом, красиво лежала на голове. И даже румяна наложила, прихорашиваясь – баба в самом соку, броская казачья красота и стать так и выпирают из нее.

И Антонина, жена Федора, принаряжена – молодая казачка двадцати шести лет, сидела скромно, положив на колени натруженные ладони. Тяжело ей сейчас приходится – муж на фронте воюет, а она одна по хозяйству, пусть и Антон, и свекор ей постоянно помогают – и засеяли надел, и убрали, и сена накосили, дров длинную поленницу привезли и нарубили, и деньги дают. Но все равно тяжело бабе, коль казака рядом нет. И дети все в сборе, его внуки и внучки...

– Здорово, мои родные, – еще раз поздоровался Семен Кузьмич, и получил ответное и дружное «здравствуй, дедушка». И тут же уселся на свободную лавку (ему и оставленную), возле которой лежали на домотканых половичках снятые с Мунгала переметные сумы. Подарки были уложены Анной еще вчера, взятые из объемных сундуков, где долгое время лежали, дожидаясь своей очереди. Жена ему трижды втолковывала, кому и что предназначено. И старый казак не оплошал, раскрыв сумы.

– Идите-ка ко мне, шалуньи, – подозвал к себе самых младших. Глаша с Тоней будто сговорились между собой и четыре года назад родили по девочке, у первой Маша, а у второй Паша, Прасковья то есть, в честь прабабушки назвали. Обе русые, с тонкими косичками, озорные, мамками сверх меры балованные любимицы. Младшим деткам завсегда ласки больше перепадает. Кофточка и платьице, пошитые Полиной на швейной машинке (была у Семена Кузьмича дома такая роскошь – «Зингер»), были встречены с восторгом, а добрый дедушка расцелован в обе щеки.

Затем были наделены казачата восьми лет – невестки опять меж собой «сговорились» – Тоня родила своего первенца Антона (в честь дяди названного), а Глаша младшенького Семена (дедовского любимца и тезку). Глаза у мальчиков вылезли, когда увидели царский подарок – по ладно сшитой гимнастерке и маленьким казачьим шароварам с атласными желтыми лампасами. И хоть великоваты изрядно были (Анна и Полина шили им на вырост), но то была их первая в жизни казачья форма, коей по обычаю наделяет не отец, а дед. Из сум еще фуражки маленькие появились, тульи защитные, околыши желтые, козырьки лакированные – Сенька и Антошка аж грудью зашлись, вздохнуть боятся, глазенки сверкают. Заказал фуражки Семен Кузьмич по весне в городе и заплатил изрядно, почти как за большие.

– А ремни и сапоги вам уже давно сделаны, ждут вас, не дождутся, – с деланной суровостью в голосе произнес дед. – Идите и переодевайтесь быстро, хоть на казаков похожи станете.

Внучата от радости деда поблагодарить забыли, взяли форму в охапку дрожащими ручками и убежали в дальнюю комнату. С ними Антон и матери вышли.

А Семен Кузьмич позвал к себе старшую дочь Антона, Анну, шестнадцати лет, что в шестом классе гимназии в городе училась. В город на учебу их сосед ее постоянно привозил и увозил – он в Иркутске извозом занимался. Порода сразу видна – вся в мать, статную тункинскую казачку, что на лошади как любой казак ездит, а при нужде и стрелять из винтовки так же метко будет. В сок девка вошла, замуж выдавать надо. Антон говорит, что нашел в городе ей партию, да в офицерских чинах казак, и род старинный. А жаль, что дочь чужому роду будет служить, не своему, а то славные казачата Батурины были бы у них в семье...

– Возьми-ка, внучка, это тебе – сунул ей в руки маленькую коробочку Семен Кузьмич. Та раскрыла ее и обомлела, как внучата – золотые сережки с кроваво-красными рубинами, драгоценный подарок (хоть и не такой дорогой, как кажется, Батурина он даже задешево обернулся, но вот говорить это Анне он, понятное дело, не стал). Девчонка взвизгнула, потеряв в миг все городское воспитание, кинулась деду на шею, расцеловала в обе щеки и тут же в опочивальню бросилась примерять – это не серебряные скромные сережки, отцом купленные за рубль пара...

На старшего внука Кузьму, одетого в полную казачью форму (отец заранее стал сына к службе готовить), дед смотрел со смесью непонятной любви и почтения – уж больно тот ему отца напоминал, лихого казака Кузьму Антоновича Батурина. А потому баловал его сверх меры...

– Вот возьми, – в руки внука была сунута трубочка из свернутых купюр. – Не гоже такому молодцу без деньги в кармане жить. Теперь и подарки купить сможешь, и младших сладостями городскими побаловать.

Внук оторопело посмотрел на тонкую трубочку из пяти «цыплят» и одной «синьки», так в обиходе называли желтые рублевые и синие пятирублевые «романовские» купюры.

Невиданное богатство для казака еще три года назад. Но война изрядно, чуть ли не втрое обесценила бумажные деньги, золото с серебром начисто исчезло. Особенно поднялись цены на все добротные фабричные товары, детские фуражки стоили Семену Кузьмичу даже чуток дороже – так что он мало терял от такого подарка.

Из комнаты выбежали двое казачат при полном параде – матери приладили им погоны, а Антон нацепил на фуражки кокарды (сын заранее все купил, но молчал). В начищенных сапогах, в ремнях со старинными пряжками, они горделивыми гусаками вошли в горницу, кося глазами по желтым лентам лампасов. Смотрите на нас все, завидуйте, настоящими казаками стали.

Но на шею к деду не кинулись, как всегда делали – не солидно уже, раз полную казачью форму надели. Наученные матерями, внучата поклонились и чинно, не по-детски поблагодарили:

– Спасибо за справу казачью, дедушка Семен Кузьмич, да наш низкий поклон передайте бабушке Анне Трофимовне, да тетушке Полине Ивановне. Век вам всем здоровья, а нам службы казачьей!

– И вам на том слове спасибо, внуки мои любезные Семен Антонович и Антон Федорович, – Семен Кузьмич встал и ответно поклонился. Вот так со старины обычай этот блюли. Мальцы переглянулись и убежали в светлицу, перед зеркалом покрасоваться.

Сын с улыбкой кусал ус – доволен был подарками дедовскими. И тут в горницу вошла Аня, горделиво повернула голову из стороны в сторону – невестки разом ахнули, и нечто похожее на зависть появилось в их глазах. Антон сообразил последним:

– Балуешь девку, батя, – недовольно пробормотал. А с чего радоваться казаку, если женушка сегодня ночью в опочивальне его спросит – «а ты мне такие подарки делал, суженный мой?»

А вот радостного Кузьму отец не заметил, тот уже упрятал деньги в карман и постарался прикинуться занавеской, чтоб под ее прикрытием его радостного вида отец не углядел. А то скажет, что такими деньжищами парня грех баловать, и заберет, в лучшем случае, половину, если не больше. А так парень ему треть сам отдаст...

– А вот и тебе, доча, от свекра и свекрови подарок скромный, – и протянул Антонине вырезанный из кости умельцем изящный гребешок с серебряными вставками. И теперь женщины ахнули, одна восторженно, а другая с плохо прикрытой завистью.

– А к нему еще вот что, – и Семен Кузьмич развернул большой пуховый платок жениной работы – и коз сама стригла, и пряжу пряла, и платок связала крючками. Накинул его на плечи невестки, шаг назад сделал.

– Красота!

И тут же достал из сумы яркую цветную шаль с бусами из перламутровых жемчужин, протянул хозяйке:

– Носи, доченька, на счастье много лет, да стариков своих добрым словом вспоминай чаще...

Зарделась Глафира, победно сверкнула синими пронзительными глазищами, и женщины, тут же ставшие опять подругами, удалились в светлицу, чтоб на обнове полюбоваться. Антон похахатывал, теребя рукой бороду, видно, от сердца отлегло.

– Всех ты, батя, наделил, склоков не будет...

– А это тебе, – из полностью опустевшей сумы достал старик перчатки. Антон их взял и поперхнулся ответным словом – в обе перчатки были плотно вложены желтые, зеленые и синие купюры – на хозяйство, дочь учить в гимназии да Антонине помогать.

– Уважил, батя, ну и уважил. Дай Бог тебе здоровья, – сын заключил отца в объятия, сжал на радостях. – Всех уважил!

– Не всех, – с грустью в голосе вздохнул Семен Кузьмич. – Как там Федор наш с германцами воюет, второй год уже пошел...

Остров

(Федор Батурич)

Быстрым шагом Батурич дошел до временной казармы сотни – погрузочная суматоха давно закончилась, и двор был почти пустым. Только у дверей стоял казак на часах, ибо все нестроевые остались при имуществе, да два оседланных коня, поводья которых были в руках верного Цырена. Второго и последнего буряты в сотне, если не считать десятков его гуранистых тункинских казаков-сослуживцев, которых от соседей инородцев и на трезвую голову отличить затруднительно.

– Пошли, – Федор птицей взлетел в седло, дернул поводья и тронул коня с места в галоп. Однако бурят оказался проворней казака, будто и правду говорят, что некоторые рода этого народа чуть ли не в седле баб своих рожать заставляют. Цырен, видно, из таких, и лошадей без памяти любит, и они к нему тянутся. Привык Федор за три месяца к буряту, и тот к нему прикипел всей душой, ведь спас его казак...

После злосчастливого июньского наступления полувзвод иркутских казаков попал в Петроград, где был задействован в полицейских патрулях. Всякой швали расплодилось в столице, и особенно много ее высыпало на улицы и в подворотни после выступления большевиков и матросни. Шалили везде, да и прежнего страха перед казаками не испытывали. Вот поздним вечером и нарвался разъезд на «мотылей».

Хулиганы такие по столице развелись – из белых простыней крылья понаделали и ночью порхают, на добрых людей жуть наводят, пугают и грабят. Чуть ли не до исподнего раздевают, твари...

Вот только с иркутскими казаками сей номер не прошел – одного «мотылька» Петр Зверев пикой к стене приколол, в гимназии так гербарий делали, когда Федор в Иркутске год учился. А этот даже крыльями не трепыхал, сразу обвис и глазюки выпучил.

Второй шустрым оказался – из револьвера племяшу в плечо попал, но больше выстрелить не смог – Федор ему полчерепушки шашкой снес, с потягом рубанул, как батя учил. А третьего «мотылька» из винтовки Степан Донсков завалил, как ладонью прихлопнул. Но тройка других «бабочек», к величайшему казачьему сожалению, упорхнула в ночную темноту, сбросив на бегу свои белые крылышки. Да уж, не ангелы, летать не умеют, но бегают шустро, не всякий конь и угонится...

На третий день Федора пустили в госпиталь к Звереву – казаку пулю доктор вытащил, и тот уже гоголем выглядел, сестрам милосердия, что твой глухарь на току, песни распевал. Удачлив в бабах казак, словно мухи на г..., то есть на мед, к нему липнут. Побыв полчаса у болящего, Федор вышел во двор, где его ждал Степан с лошадьми. Там жизнь кипела, люди сновали в разные стороны. Батурин закурил на крыльце папиросу, рядом с ним встал доктор в окровавленном белом халате, курил взахлеб, жадно.

– Все сидит и сидит, дурак, – голос у доктора был сиплый, с надрывом. – Одноплеменник его помер, а этого выходили – их с Петрозаводска привезли, там железную дорогу строили. Не уходит от нас и не жрет ничего, по другу, видно, тоскует. И веры непонятной – не крестится и Аллаху не поклоняется. А кто такой – язык неведомый, и татары с ним говорили, и другие инородцы, не понимают его. Нехристъ. И не забирают отсюда, хоть мы и звоним постоянно. Что он опять там сидит, ему же все ноги отдавят! Бормочет только непонятное...

Федор повернулся и увидел, что у столба парковой калитки сидит явный азиат с уставлым, сильно исхудавшим лицом, с закрытыми глазами. Одет он был в рваную рабочую одежду с чужого плеча, уж больно была великовата. Люди заходили и выходили через калитку, каждый второй вольно или невольно наступал бедняге на ноги, а тот только бормотал.

Будто что-то толкнуло в спину казака, и он быстро пошел к столбику, встал почти рядом и прислушался. Через минуту стало ясно, что перед ним бурят – бедняга здоровался, когда ему отдавливали ноги.

– Сайн байну, – еле слышно сказал молодой бурят смертельно уставшим голосом.

– Менде сайн, – Федор присел на корточки, полностью загородив проход. – Хэр байнабта?

Вопрос, конечно, задал глупый – «как поживаете», и так было ясен перец, что плохо. Но не говорить же обычные приветственные вопросы о траве на его пастбищах или упитанности скота. А более Федор почти ничего не знал, чему тункинские казаки научили, то и

запомнил на всякий случай. Этим казаки и старожилы от новоселов отличались – уважаешь инородцев, хочешь дружить с ними, выучи несколько фраз, окажи тем почтение. А новоселы, что в России гнилую соломку с крыши по весне доедали, нахрапом действовали, и очень часто бурят просто силой с земли сгоняли, какое уж тут уважение...

– Меня зовут Федор Батуриин, иркутский казак, – он провел рукой по желтому лампасу. – Та хэн гэжэ нэрэтэйбта?

– Цыренджап, – коротко ответил свое имя бурят, понявший вопрос казака, и открыл раскосые глаза.

«Бог ты мой, сколько он пережил, какая безысходность в глазах. Выдернули их, бедолаг, со стойбищ и отправили за тридевять земель. Языка не знают, люди кругом чуждые. Не могли, что ли, генералы вот таких молодых инородцев в казачьи полки причислить, а не на дорожных работах непосильным трудом губить. Ведь и у нас, а тем более у забайкальцев, бурятский язык каждый третий понимает, если не каждый второй. А среди забайкальских казаков каждый десятый вообще сам бурят», – тяжелые мысли овладели казаком, ворочаясь в мозгу кирпичами. Нужно было что-то срочно предпринимать – подойдет же здесь от голода и тоски. И Батуриин встал с корточек, ухватив ладонью рукоять шашки.

– Пошли, бедолага. Цыреном тебя кликать буду, а то имечко у тебя такое, что сразу и не скажешь. Я хочу тебе только одного добра, ты меня понимаешь? – Федор, как мог, попытался объяснить слова жестами.

– Зай, – коротко ответил Цырен и поднялся – его легко покачивало. Батуриин потащил его к Степану.

– Ты где его раздобыл, урядник? Сайн байна! – искренне удивился Донсков – в отличие от Федора, он по каким-то соображениям сразу же опознал бурята. – Жрякать хочет?! Вон щечки как впали... То поправимо, там за углом молочница простоквашу продавала. Я мигом!

Батуриин отвел лошадей под раскидистые деревья парка, здесь было тихо, зеленела кругом трава. Цырен же буквально прилип к его кобыле, шептал что-то ей в ухо, гладил по гриве. Та сразу признала в буряте родственную себе душу. Федор даже глаза протер от неверия – его Плашка ластилась к Цырену, как кошка, только не урчала и спину не выгибала...

– Ни хрена себе! Был бы цыганом, хлебнули бы мы горя... Всех коней бы увел! – недовольно пробурчал Степан, но Федор понял, что причина его возмущения в другом, и не ошибся. Казак выставил на траву штоф простокваши, кусок желтоватого сыра на полфунта, краюху хлеба, луковичу...

– Они тут все взбесились, уже не три шкуры дерут, а все десять. Да за эти деньги я у себя в станице ведро молока купил бы и с четверть пуда сыра. Да на шкалик бы осталась, да детям на конфеты... Ешь давай, брат, в сотню тебя заберем, благо один бурят давно у нас есть, в вахмистрских погонах щеголяет. Домой цацей явишься, при лампасах, в фураньке, шашке и крестах. Ни хухры-мухры ясачное, а казак. А если товарищем добрым станешь, и сам захочешь, то настоем, чтоб к станице приписали. Сейчас с этим просто, не в старые времена чай живем. Да и земля под войсковой запас нам отведена...

Вот так и попал в сотню Цырен, но держался почему-то не Хорин-хона, а его, Батурина. И забот у взводного резко уменьшилось – бурят вроде ординарца стал. И за лошадьё, и за имуществом пригляд строгий держал, без баловства всякого.

Сотник без раздумий принял Цырена и не прогадал. Храбрым оказался, на лошади как влитой сидел, лучше многих казаков, да чего лукавить, и его, Федора. А шашку за неделю освоил, и так орудовать ей наловчился, что Батуриин весьма обоснованно подозревать начал, что Цырен у какого-нибудь монгольского нойона в цириках, то есть в воинах, служил.

Винтовку бурят на раз-два осилил и стрелял из нее метко, почти не промахиваясь. Но тут, как думал Федор, все дело в раскосых глазах – гураны из его взвода лучше других казаков сотни стреляли, с ними соревноваться на заклад никто не решался...

На самой станции Острова железнодорожники устроили обычное явление – «революционный порядок». Эшелоны корпуса уже давненько стояли под парами, паровозы свистели и выпускали пар, но никто никуда не ехал. Часто попадались навстречу солдаты Островского гарнизона. Обычно расхристанные и наглые, но сейчас они почему-то стали совершенно другими, будто вернулось то славное времечко, когда царь-батюшка крепко держал в своих руках державу.

Солдаты угрюмо зыркали на сидящего на лошади урядника злыми глазами, но обидных и оскорбительных словечек не бросали, а кое-кто даже козырял. Они выглядели пришибленными псами, коих палкой заставили справно нести военную службу – шинели застегнуты, папахи надеты по уставу.

И на станции, обычно загаженной и заплеванной, был наведен относительный порядок – Федор от удивления даже засвистел, ибо отвык казак за несколько месяцев революционного бардака от созерцания привычной взгляду чистоты на станционных перронах и зданиях.

И железнодорожное начальство бегало и суетилось, но вот только такое нарочитое старание показалось Батурину фальшивым, и больше походило на какое-то представление.

Вагоны енисейской сотни стояли во главе первого эшелона, сразу же за ними зеленый вагон третьего класса для офицеров, желтый второго класса для Керенского и его сопровождения, затем теплушки для трех донских сотен. В два других эшелона только начали погрузку семь сотен донцов и казачья конно-артиллерийская батарея.

Федор с Цыреном проскакали вдоль линии теплушек: «8 лошадей, 40 человек» – белели надписи на дощатых стенках. Всего дюжина вагонов отводилась на их сотню – десяток на лошадей и два для казаков. Батурин окинул взглядом эшелоны и загрузил – большой комплект в казачьих сотнях, ранее три эшелона только на один полк в шесть сотен отводились. И как такими силами Петербург брать – холодок обдал сердце.

Из теплушки доносился здоровый казачий хохот – тункинцы свесили из дверей ноги, фуражки на затылках. То была добрая примета – машинально отметил Федор – намного хуже, если казаки сидят мрачные, сдвинув фуражки на лбы, и плюют на землю...

– Федор Семеныч! – закричали разом, увидав Батурина. – Простава с тебя, господин подхорунжий!

Горохом высыпались тункинские казаки из вагонов, дружно ударили сапогами по настилу и загорланили разом:

Как был в нашей сотне командир хороший!

Ой, как был в нашей сотне да командир хороший!

Чернявая моя да чернобровая моя!

Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!

Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!

Песня была старинная, иркутские казаки ее очень любили и пели только тем своим атаманам и командирам, коих сильно уважали.

Кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!

Эх, кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!

Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!

Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!

Братья Пермяковы, похожие на друг друга, словно отчеканенные пяточки, выхватили шашки из ножен.

Командир хороший! Да старшина удалый!

Командир хороший! Да старшина удалый!

Чернявая моя да чернобровая моя!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!

Заискрили в вечернем воздухе серебристые клинки, а тункинцы стали дружно хлопать в ладони, поддерживая удальцов.

Кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Эх, кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!

Метались шашки в умелых руках, наявивая свой танец, смертоносный для врагов и лихость в друзьях пробуждающий. И какой казачий пляс без верной подружки будет. И пусть нет разлюбезной казачки, в станице она казака ожидает, но есть шашка – подружка верная.

Старшина удалый! Казаки все бравы!
Старшина удалый! Казаки все бравы!

Чернявая моя да чернобровая моя!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!

Станция притихла, солдаты попрятались, слушая задорную казачью песню. А вот енисейцы из соседнего вагона разом высыпали наружу и лихим свистом поддержали иркутских казаков. Подошли и три донских казака, перетаптываясь на месте – видно, их тоже подмывало пуститься в пляс.

Кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Эх, кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!

Скуластый казак с алыми донскими лампасами влетел в круг, сменив уставших Пермьяковых, и стал вытворять клинком настоящие чудеса, пройдясь в присядку перед собравшимися в круг казаками, как бы приглашая еще одного танцора.

Казаки все бравы! Кони их убраны!
Казаки все бравы! Кони их убраны!
Чернявая моя да чернобровая моя!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!
Да черноброва, черноглаза, кудрявые голова!

Урядник из енисейцев не выдержал и влетел в круг – снова заискрили два клинка, ибо шашка без шашки жить не могут. Подружки они. А лихая казачья песня все громче раздавалась над притихшей станцией.

Кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Эх, кудрявые, кудрявые, кудрявые голова!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!
Брава, брава, Катерина, брава, сердце мое!

– Спасибо братцы! Щас проставлюсь! – Федор лихо спрыгнул с седла и стал расстегивать шинельные крючки. С помощью подскочившего Петра быстро скинул с плеч шинель и гимнастерку, лихо забросил в вагон.

Вещи с хохотом подхватили казаки, полезли обратно в вагонное нутро и дружно скрылись в его глубине. Было холодно, и Батурин накиннул на плечи попону, поданную Зверевым.

– Все подготовил, – шепнул Федору на ухо племянник, – водку и закуску в вагон загрузили, в дороге выпьем. Хотя хрен его знает, выедем мы сегодня со станции или нет...

– Что такое?

– Железнодорожники воду мутят, не желают везти и говорят то же самое, что и наши амурцы. Керенскому салон-вагон не нашли, второй класс для него прицепили. И то после того только, как сотня девятого полка его почетным караулом встретила и так по перрону лихо прошла...

– А что с солдатами? Пришибленные они какие-то, смотрят боязно, чуть ли не по уставу одетые...

– Выпороть их пригрозили всем скопом, – Петр жизнерадостно засмеялся. – Как станцию казаки заняли, так они враз присмирели, глазенки забегали, и давай нас спрашивать, почто Керенский приехал, зачем казаки всей силой собираются. А у нас народ сам знаешь, какой?! Наговорили в три короба, что не только наш корпус на столицу идет, но и Туземный корпус подняли. И завтра сюда первые эшелоны Дикой дивизии подойдут – и за отсутствие порядка всех сиволапых пороть нещадно будут, а большевикам еще животы испарывать. Вот тут они во весь голос стали орать, что к большевикам отношения не имеют, дисциплину вспомнили. И вокзал принялись убирать чуть ли не до блеска. Помнят туземцев по августу, хорошо запомнили...

Еще бы не запомнить – агитаторам к туземцам лучше не ходить, и речей не поймут, нехристи, а то и запросто зарезать могут, кишки на голову намотав. Их первым дивизионным командиром был государь Михаил Александрович, что от престола в марте отказался. И зря сделал – того бедлама, что сейчас творится, не было бы.

И части верные под рукой тогда у него были – нашим третьим конным корпусом генерал граф Келлер командовал, любимец армии. Не принял старик отречения, плюнул и не стал служить временному правительству. А Дикая дивизия за императором без раздумий пошла бы, и казаки шашки повынимали бы. Эх, кишка слаба оказалась у его величества...

А сейчас все кончено – армия расхристанна, воевать не будет, только зря ее кормят, распустить давно надо. Кое-какую дисциплину сохраняют казачьи части, и то потому, что офицеров пока слушаются, так те, в большинстве своем, станичники, а не какие-нибудь баре или скоро выпеченные прапорщики. Кадровые полки еще держатся, а вот льготные за большевиками идут, война-то всем хуже горькой редьки надоела, а дома жена, дети, хозяйство. Вот и не хотят воевать...

– Федор Семенович, я тебе вот что скажу прямо – если Керенский у власти удержаться хочет, – голос Зверева был серьезен как никогда, – то армию надо срочно демобилизовать. Оставить только одни кадровые части и комплектовать их только молодыми, действительных сроков службы. Все эти ударные батальоны, волонтеров тыла, и тех, кто добровольно пожелает служить – в эти дивизии переводить. То же самое и с казаками сделать – льготников старших возрастов уволить, только вторую очередь оставить. И инородцев призвать – кавказцев там, киргизов, да хоть наших бурят. И не на работы – в строй их ставить. На них большевицкая агитация не подействует!

Батурин с уважением глянул на своего друга-родича – вот что значит порода. Сразу по полочкам разложил все его смутные сомнения. Умен казак, но бабник и пьяница, а потому в школу прапорщиков не пошел, промолвил просто – «не мое это дело». Резко сказал, как отрезал...

– Эх, Семеныч, не судьба обмыть твои новые погоны, вон по твою душу из штабного вагона бегут. Станичники, выбрасывай обратно шинель и гимнастерку...

Накаркал Петруша – подбежал приказной, чубатый донец с испитым лицом. Именно он был на охране собрания, когда приехал Керенский.

– Взводного Батурина к их превосходительству, – четко откозырял казак и бросился обратно, придерживая рукой шашку.

Федор принялся надевать гимнастерку и шинель с уже нашитыми погонами подхорунжего – его казаки постарались. Традиция такая – как только старший урядник чин вахмистра

получает, то новые погоны ему казаки пришивают, вручают и обмывают чин совместно, дабы новоиспеченный всегда помнил, благодаря кому погоны получил, и нос свой не задирает. Все они, в первую очередь, казаки, и зачастую из одной станицы, и мальцами вместе в ночное бегали, и к соседке в огород за огурцами лазили.

Застегнув крючки шинели, Федор затянул ее ремнем и нахлобучил фуражку. Вот она, доля казачья, не дадут ему новый чин обмыть, приказывают службу править. Ну и хрен с ними – сплюнув под ноги, Батуринов побежал к желтому вагону, где разместился командующий корпусом генерал Краснов вместе с Керенским и его свитой.

ГЛАВА ВТОРАЯ НА ПЕТРОГРАД

Остров
(Федор Батуринов)

Охрана желтого штабного вагона, чубатые донцы в забрызганных грязью длиннополых кавалерийских шинелях, пропустила Федора без промедления и через минуту новоиспеченный подхорунжий уже стоял на вытяжку перед генералом, бравое доложив о своем прибытии. В купе, напротив Краснова, сидел командир сотни Коршунов, задумчиво теребящий ус. Но есаул хитро подмигнул Батуринову, как бы говоря – «не журишь, казак, не для пропесочивания вызвали». А потому Федор сразу же успокоился и, согласно уставу, принялся жадно «поедать» глазами поднявшегося с полки генерала.

Краснов стоял на расстоянии вытянутой руки, были отчетливо видны седые нитки в его густых волосах и сизые припухлости под глазами. Устал их превосходительство, шибко устал – сразу подумалось Батуринову.

Генерал внимательно посмотрел Федору прямо в глаза.

– Погоны новые еще не обмыл, Батуринов? – сидящий генерал Краснов, с черными, как смоль, усами и молодцеватой выправкой, с усмешкой в блеклых глазах хитро посмотрел на Федора.

– Никак нет, ваше превосходительство! Как так можно, нас же в конвой господина министра-председателя определили, – Федор выпалил единым махом, приняв молодцевато-глуповатый вид, памятуя, что излишней лихостью не повредишь себе никогда, а вот ум лучше подальше упрятать.

– Ты мне тыкву на плетень не ставь, подхорунжий. Казак я, и сам умею начальству незрелые тыквы ставить, – Краснов с хитрой ухмылкой прищурил глаза и как бы невзначай провел ладонью по красному донскому лампасу, пусть и двурядному, генеральскому.

Однако Федор на уловку не поддавался и продолжал старательно выпучивать глаза. А что прикажите делать? Сознаться, что взвод в полном составе дружно порешил спирта в дорожке хряпнуть, погоны хорошо обмыть? Благо путь до столичного Петрограда дальний, и торчать истуканами в вагоне у купе Керенского его казакам не придется.

– Узнаю иркутян, хитры, – генерал покачал головой. – За двадцать лет вы совсем не изменились.

– А вы, ваше превосходительство, нашей сотней уже командовали? Когда? – произвольно спросил Федор и тут же прикусил язык. Не спросить разрешения у генерала, и тем паче задавать ему вопросы для устава было делом кощунственным. И Батуринов тут же решил сгладить бестактность.

– Виноват, ваше превосходительство...

– Не извиняйся, казак. Сам вижу, что ты удивлен изрядно. Сотней вашей я не командовал, но еще до войны с Китаем объездил все наши азиатские казачьи войска. Побывал и в

Иркутске, видел учения вашей сотни. И скажу честно – ничего подобного я более не видел, ни тогда, ни сейчас. Я до сих пор не понимаю, как вам удастся в развернутой лаве коней разом положить?! Пробовал со своими донцами прием сей хитрый претворить, так ничего не вышло.

– Так мы на мунгалках ездим, а они хоть и низкорослы, но выносливы и послушны. А потому шенкелей достаточно, да на шею надавить, чтоб на рыси лошадок на землю положить. Хотя резвость и сила у них не та, что у ваших дончаков, ваше превосходительство. И потому на открытую сшибку ходить надо с опаской.

– Это я тогда и понял, Батурич. Потому-то вы, иркутские казаки, основную ставку на точную стрельбу делаете да на неожиданное спешивание. Так я и в книге своей написал, ставя вас как лучших среди казаков.

– В вашей книжке? – ошалело спросил Федор. Он не знал, что об иркутских казаках, считавшихся пасынками среди всего российского казачества, кто-то писал в книге. А потому и был сейчас удивлен до изумления.

– Разрешите, Петр Николаевич? – есаул подал голос с полки.

– Конечно, Петр Федорович.

– Федор, эта книга называется «По Азии», она у меня есть, даже три штуки, специально покупал. Как окончится наш поход, так я тебе дам ее почитать. А вообще-то их превосходительство известный писатель, и много чего интересного написал про казаков.

– А я надпись на ней сделаю, а вы уж, Петр Федорович, подарите казаку мою книгу, – Краснов задумчиво почесал пальцем переносицу и неожиданно спросил Батурина: – Не пора ли вам, подхорунжий, коня поменять?

– Как можно, ваше превосходительство! – Батурина аж перекошило от обиды. – Моя Плашка с бою меня вынесла, мы с ней кровью прикипелись...

– Ты не так меня понял, Батурич, – генерал усмехнулся кончиками губ. – Узнаю настоящего казака, что за своего боевого коня жизнь положит. И о его стати часами говорить сможет.

– Как и о войне, – с улыбкой добавил сотенный с полки.

– Это вы верно подметили, Петр Федорович, – Краснов улыбнулся. – Но дело не в том, подхорунжий – я на твою Плашку не покушаюсь. Этой ночью тебе железного коня оседлать придется. Паровоз повести сможешь?

– Так точно, ваше превосходительство. До действительной в депо работал, сначала кочегаром, потом помощником машиниста, – Федор скосил глаза на Коршунова. – В одной бригаде с господином есаулом начал трудиться, он тогда помощником машиниста был, а я уголек в топку лопатой кидал.

– Потом я в военное училище поступил, а Федор Семенович на войну с японцами добровольцем пошел, – снова подал голос Коршунов.

– Вот как, – удивленно протянул Краснов, – так вы с японцами еще воевали. То-то вас Петр Федорович хвалит.

– Виноват, ваше превосходительство, но господин есаул меня со старшим братом Антоном спутал. Брат с японцами воевал, а я в дивизионе тогда был, и на войну не попал. Нас с братом вечно путают, уж больно мы похожи друг на друга.

– А ведь верно, запомнил что-то, – чуть извиняющим голосом произнес Коршунов. – Антон Семенович моим «дядькой» был в сотне, я кадровую молодым казаком только начал служить. Еще до войны с Китаем дело было.

– Хорошо, что вместе трудились, – с улыбкой сказал Краснов. – Теперь вам снова предстоит паровозом командовать. Дело в том, Батурич, что местные железнодорожники не хотят наши эшелоны на Петроград вести. А потому головной эшелон поведете вы – Петр Федорович машинистом, а ты, Федор Семенович, его помощником. Кочегаров среди казаков отберете, кто с этим делом знаком. Есть такие у тебя во взводе, подхорунжий?

– Есть, ваше превосходительство. Приказной Немчинов в депо слесарем работал. И у красноярцев казак во взводе есть, вроде кочегаром был, – без промедления ответил Федор, почувствовав холод в груди – дело оказалось намного серьезней, чем он думал. И потому решил сразу высказать генералу свои опасения.

– На пути нам шибко препятствовать будут, среди железнодорожников много большевиков или им сочувствующих. А для паровозов уголь и вода на станциях нужны. И еще одно, ваше превосходительство – кто другие казачьи эшелоны поведет?

– Вслед за нашим поездом пойдут, а к машинистам казаков приставим, чтоб каверзу в пути не задумали. Отстанут – им же хуже будет. А с водой? – генерал задумался и через минуту спросил: – До Петрограда триста верст. Своим ходом дойти сможем, если здесь полную заправку углем и водой сделаем?

– В тендер полных четырнадцать кубов воды входит, это более тысячи ведер. Да угля «овечка», то есть паровоз серии О, шесть с половиной тонн берет. Если под завязку загрузимся, то без остановок дойти сможем...

– Хорошо. Тогда Псков минуем не мешкая, там рассадник большевизма. Идем сразу на Гатчину, начальник ВОСО обещает чистый путь. Берите казаков, сколько потребно, и немедленно готовьте паровоз. Сколько нужно времени, чтобы наши эшелоны начали движение со станции?

– Три часа на растопку котлов, если не под парами стоят, – Федор ответил без промедления, дело было ему хорошо знакомо. – Час, в крайнем случае, два, на заправку водой и загрузку угля, ваше превосходительство.

– Через пять часов эшелоны могут покинуть станцию. А это хорошо, ибо промедление смерти подобно. А потому, Федор Семенович, я надеюсь только на тебя. И на вас, Петр Федорович, – генерал Краснов обернулся к вставшему с полки есаулу. – Завтра утром наши эшелоны должны быть под Петроградом. Так что, господа иркутские казаки, только от вас зависит будущее России...

Медведево

(Семен Кузьмич Батулин)

– Что нового в городе происходит, сын? – Семен Кузьмич тщательно выбил о пожелтевший ноготь большого пальца папиросу, затем смял пальцами картонный мундштук. Антон без промедления запалил серную спичку и дал отцу прикурить.

– Увольняют в дивизионе всех ополченцев, таких как я, и старшие срока внутреннеслужащих. Приказ по округу вышел, нам уже огласили. Так что не на краткую побывку домой я пришел, а вчистую. Теперь призыву на службу не подлежу, даже из ополчения выведен, – старший сын легко поднялся с лавки, прошелся по кухне.

Семен Кузьмич залюбовался своим первенцем – статен, силен, и не скажешь, что пятый десяток лет давно разменял. Да оно и понятно, родовая казачья кровь всегда свое возьмет, что бабы с девками статные, силой женской налитые, что ребятишки...

– Хреновы дела, батя, – Антон заложил большие пальцы за расслабленный на животе ремень, – в Петербурге большевики к власти пришли. Керенского свергли – вчера днем новости в город пришли, везде обсуждают. Мыслью я – смута великая грядет...

Семен Кузьмич удивился созвучию мыслей, сам же о том думал, когда в Медведево ехал. Видно, права народная мудрость – у кого что болит, тот о том и говорит. От большевиков Семен Кузьмич не ждал ничего хорошего, хотя знаком был с ними шапочно – только по письмам сына Федора с фронта. Война, конечно, дерьмовое дело, сплошная кровь и разорение для хозяйства, но как звать к ее прекращению?

Никак не укладывалось и в голове Антона, что нужно развалить дисциплину в армии, убивать своих же офицеров, мародерничать и дезертировать. Это же какая тогда будет армия? Вооруженная толпа негодяев, которая начнет творить дела по своему скорбному разумению. И тут ледяной холодок всплывшего в памяти недавнего случая обжег текущую в жилах кровь...

– Вчера утром, я как раз домой собираться начал, запасные солдатики в Глазково на рельсы двух железнодорожников положили крепко связанных, из начальства. И паровоз направили на них, требуя, чтоб эшелон на станции не мурыжили, – Антон хотел выругаться по дурной дивизионной привычке, но тут же осекся.

За такое от отца можно было запросто схлопотать по лбу, уж больно старший Батурин крут нравом. И серьезен – вчера вечером сослался на усталость и почивать лег, зато с утра, сразу после завтрака, вызвал сына на этот разговор, услав всех домашних из горницы. Не любил отец, чтоб рядом кто-нибудь крутился, когда дела важные решал. А потому Антон Семенович сразу сообразил, что гнетут бату думы тяжкие. Но расспрашивать не стал, только продолжил свой рассказ о городских делах.

– В городе ходят расхристанные, все кругом загадили. Нас, казаков, пока не трогают, боятся. А вот юнкеров на улицах цеплять кое-где начали, карами лютыми стращают!

– Надо было вам, сынок, в сентябре не один полк разоружать, а все четыре гарнизонных полка. Да и обе дружины ополченческие заодно с ними не помешало бы. Тогда бы солдатики эти сиволапые власть побаивались. А так испугались немного, и что? А ничего, уже опамятались от страха, отошли, да за старое снова принялись. А как в полную силу войдут, а с большевиками это запросто, попомни мои слова, так начнут с нас казаков красные сопля прикладами вышибать...

– Да ты что, тятя?! Да одними плетьюми разгоним...

– Цыц! Не хвались, на рать идучи! Их тысяч пять в городе, а то и больше. Силища немалая – три сотни нашего дивизиона по городским мостовым в раз единый размажут, как масло на булку. Тем паче озверели они от вседозволенности, сам же про то мне рассказывал. Ты воевал с японцами и знать должен, что такое русский солдат.

– Да что ты, батюшка, испугался, что ли? Чтобы воевать, им головка разумная нужна, но и того будет мало. Солдат наших на фронт сейчас не вытолкнешь, нет такой силы – умирать-то им до жути страшно. А ты говоришь – воевать будут...

В голосе сына слышалась такая едкая ирония и такое пренебрежение к солдатам, что Семен Кузьмич не выдержал. Старый казак тяжело хлопнул ладонью по столешнице, и сын сразу съежился. Зело беспокоен стал батя, если стол бьет, что было на памяти Антона всего третий раз в жизни.

– Ты меня, старика, послушай, неслух! Вся их головка уже в Петербурге у власти сидит, Керенского убрав. Это раз! Большевики-то, кто они? Германские наймиты и подсылы! Это два! Немчуре выгодно, чтоб наша армия полностью развалилась? Выгодно?!

– Ежу понятно! Тогда они могут свои войска с нашего фронта против французов бросить...

– Так германцы это уже давно сделали! Сын же писал, в дивизион весточки с фронта тоже приходят! Большевики сильно агитируют солдат за прекращение войны. Так?

– Так! Ну и что?

– И большевиков эти солдатики, коих пруд пруди в каждом городе, поддержат всей силой, ибо им полное освобождение от службы дадут. Тебе война ведь тоже не нужна?

– Как бурьян на усадьбе! Но кто-то же фронт держать от немца должен? Ведь германцы от войны не отказываются!

– А зачем большевикам фронт держать?! Против своих германцев, кои их выкормили да выпестовали?! А солдатики с винтовками рядышком, недовольные и злые. На кого они пойдут? – Семен Кузьмич с недоброй усмешкой посмотрел на своего первенца.

Тот в задумчивости почесал переносицу, но не торопился отвечать, терпеливо ожидая, что отец сам выскажется.

– Власти свергать везде будут, чтоб за продолжение войны не ратовали! А кто супротив них пойти сможет, у кого кишка не тонка? Токмо юнкера, офицеры всякие да мы, казаки...

– Ну, ты даешь, батя! – Антон удивленно вскинул брови. – Ну ладно, власть дело тонкое, господа обучены ее премудростям. Война зело поганое занятие – вряд ли юнкера и офицеры шибко хотят умирать. Да и нам, казакам, война-то, по большому счету, не слишком нужна. Если мы с германцами драться прекратим, то в доме своем на хрена бучу кровавую устраивать. Солдатам только свистни, и они все по домам разбегутся, что зайцы, за уши не удержишь. Да и чего нам с ними рать устраивать...

– У тебя сколько сейчас земли, Антоша? – вкрадчиво спросил старый Батурич. Сын сразу напрягся – если отец заговорил вот таким голосом, то погано дело, в детстве обычно поркой заканчивалось.

– В прошлом году землю устроители отвели всему нашему поселку, – осторожно ответил Антон. – На мой двор без малого сто десятин положили, огород и усадьбу сверх меры посчитали...

– А чья земля та была раньше?

– Марковских и смоленских мужиков, да городская...

И тут Антон осекся – он вспомнил, с каким недовольством встретили в селах Смоленщина и Марково земельный отвод. И хоть передали казакам излишки сверх надельной нормы, но крестьянам это жутко не понравилось. И лишь присутствие полиции да три сотни вооруженных казаков в Иркутске несколько охладили горячие головы некоторых новоселов и старожилов из малоимущих, которые начали подбивать своих односельчан на насильственный протест. Антон их прекрасно понимал – кому понравится, когда землю, которую ты всегда считал своей, другому отдают...

– Что скривился, сын мой? – Семен Кузьмич взял из коробки новую папиросу и неторопливо раскурил. – Вспомнил? А за кого сейчас эти мужики стоят, за какую власть они выступают?!

– За большаков, – упавшим голосом ответил Антон, – за них ратуют, их политики держатся, как дитя за мамкин подол.

– Вот то-то. А раз эти предатели о равенстве горланят, то землю нашу враз урежут, чтоб наделы одинаковы были у всех.

– Как же так, батя?! Нам же на службу снаряжаться нужно, один конь сейчас триста рублей стоит. Да и земля наша, исконная, казачья, дедами на саблю взятая, кровью и потом политая.

– Была нашей! – грубо отрезал старый казак. – Вот уже почти полста лет, как она крестьянам в пользование отдана. А рази кто из них вспомнит о том? Они ее своей привыкли считать за эти года. А потому горло нам скоро рвать зачнут и землю отнимут.

В горнице застыло жуткое молчание. Семен Кузьмич молча пыхал дымом папиросы, хмуря кустистые брови. Антон кривил губы, о чем-то напряженно думая и не обращая внимания на густой табачный дым. Наконец первенец осторожно спросил:

– И что нам делать, батя?

– О том позже гутарить будем. А пока, сын мой разлюбезный, седлай коней, да по форме облачайся. К полковнику нашему поедем, разговор есть. Да и в городе я на денек задержусь, со стариками перемолвиться нужно.

– Хорошо, батюшка, – Антон больше вопросов задавать не стал, хоть и подмывало узнать, что это за таинственность старик разводит. Если сочтет нужным, то сам скажет, а нет, так и спрашивать без толку. А потому казак послушно поднялся, и через минуту со двора донесся

его зычный голос, велевший старшему сыну Кузьме седлать коней, а женщинам, не мешкая, снарядить торбы на два дня.

Гатчина
(Федор Батурин)

– Федор Семенович, вставай! Да вставай же, господин подхорунжий, офицерские погоны проспшишь, – голос Петра Зверева бесцеремонно ворвался в сознание, словно ударили билом по колокольной бронзе.

– Дай поспать, окаянный! Я же сказал в Гатчине разбудить, – спать Федору хотелось немилосердно – у машиниста тяжкий труд.

– Так мы уже пять минут как в Гатчине. Эшелон стоит, взвод уже начал выгрузку!

Словно ушат ледяной воды обрушился на полусонного Батурина с этими словами – сон хлестануло нагайкой. Федор вскочил на ноги, разлепил веки и осмотрелся. Так и есть – кругом темнота, вернее, густые предутренние сумерки, в которых казак с трудом разглядел, что тендер почти пустой, в углу лишь жалкая горка угля да брошенные дерюги на полу. На них и спали они с Коршуновым по перемене, не ощущая от усталости адского шума, творящегося в железном чреве «овечки». А прошедшее время было еще то...

Тронулись они с Острова в три часа дня и первую остановку сделали на станции Черской, где залили воду в порядком опустевший бак. Как понял Федор из слов Коршунова, на этой станции Керенский накричал на генерала, который отвечал за перевозки войск по железной дороге. Именно визгливый до жути голос министра-председателя Батурин и слышал, выпрыгнув из паровозной будки, вот только слов не разобрал.

Однако Верховный правитель своего добился – казачий эшелон покатился на север без остановок. Обе станции Пскова, товарная и пассажирская, были битком набиты серыми солдатскими шинелями. Однако, за исключением озлобленных взглядов, препятствий не чинилось. Федор видел на всем протяжении пути лишь разрешающие семафоры – дорога на Петроград была открыта. А потому они с Коршуновым рассудили здраво – отдыхать по очереди. Ведь если бой с большевиками начнется прямо с колес, то уставшим и не спавшим подхорунжему и есаулу будет трудно командовать взводом и сотней. На освободившейся от угля площадке устроили лежанку из дерюги, и первым завалился спать офицер.

По прибытии на станцию Луга командира разбудили, а на освободившееся место улегся Федор. Война научила казаков спать в любых условиях, урывая драгоценные часы для сна – ни взрывы тяжелых германских снарядов, которые фронтовики называли «чемоданами», ни длинные пулеметные очереди не могли их разбудить. А, тем более, работающий паровозный котел и перестук колес на рельсах показались Федору давно им подзабытой колыбельной песенкой, что напевала ему у кровати мама. И потому уснул казак крепко, а снилась ему теплая печь с лежанкой, на которую он забрался, стараясь согреться от застудившего кости холода. И тут такое бесцеремонное пробуждение – надо вставать и готовиться к бою. Будь она неладна, эта война, мало было немцев, так теперь большевики, наймиты германские, кровавую бучу в собственном доме устраивают...

Через минуту Федор был уже у себя в вагоне, где скинул с пропотевшего тела старое, третьего срока носки, солдатское обмундирование, специально одетое им для работы на паровозе. Бросил тряпки на пол – стирать их от угольной пыли и машинной грязи было бы бесполезным делом, да и зачем, если трофеи всегда будут, достаточно у восставших солдатиков лишние комплекты формы забрать.

Стоя на дощатом полу теплушки, Федор тщательно обмылся – верный Цырен предусмотрительно нагрел ведро воды на печурке, приготовил обмылок и чистую портянку вместо рушника. Бурят и поливал его из ковшика горячей, исходящей паром водой, а Федор только

мылился и соскребывал ногтями грязь с рук, груди и живота. Осеннего холода казак не чувствовал, не до того ему было, быстрее бы помыться.

Лишь натянув на тело теплую казачью форму, туго перепоясавшись кожаным ремнем, ощутив привычную тяжесть шашки на перекинутой через плечо португее, Федор окончательно пришел в себя, перекрестился и тут же ощутил зверский голод.

– Давай, кушай, Федор Семыч. Ир наша, – Цырен, блестя в сумерках раскосыми щелками глаз, давно выставил на ящик заранее приготовленный завтрак – накромсанные шашкой ломти хлеба с кусками сала, пару луковиц и котелок с горячим чаем.

– Кушай, к коням я, однахо, – и бурят, добавив что-то непонятное на своем языке, ловко выскочил из вагона. Батурин же приналег на роскошный для походных условий завтрак. Умяв хлеб с салом вприкуску с луком, подхорунжий принялся за чай, невольно поморщившись – Цырен, как некоторые буряты, в сладком не знал удержу, вбухав в чай уйму рафинада. Но, с другой стороны, бурят прав – сладкое помогает лучше видеть в сумерках или темноте, а сало позволяет легче переносить холод. Буряты – они хоть и дикий народ, родовыми стойбищами до сих пор живут, как тысячи лет тому назад, но люди практичные и неприхотливые, особенно в пище. Для них мясо главное в жизни, а уж сладкое любят...

Однако предаваться праздным размышлениям Федор не стал, а, наскоро перекрестив лоб вместо благодарственной молитвы – чай на войне Господь и не такой грех отпустит, бросил котелок в ящик – оставшийся при имуществе взвода казак уберет, лихо выпрыгнул из вагона, чувствуя себя полным сил. И через минуту Батурин уже был в седле, окидывая придирчивым взглядом свой изрядно потрепанный взвод. И тяжело вздохнул – дюжина казаков всего в строю, с бурятом, да он сам, грешный. Плохое число тринадцать, чертова дюжина. Хотя с какой стороны посмотреть, может быть, для большевиков оно шибко плохим станет – как знать.

Усталого Немчинова, что всю ночь кочегаром трудился, Федор на охране взводного имущества оставил, а заодно с ним и Усольцева Ивана, что неосторожно дверью себе правую руку разбил. Вояка с него сейчас никакой – ни шашку держать, ни с винтовки стрелять не сможет. Одни потери, и никакого пополнения не случится.

– Федор Семенович, – из темноты вынырнул на коне лихой есаул. – На станции пехота строится, пара рот. Пулеметов у них с десяток. Пойдешь со мной с одним полувзводом, второй оставь в прикрытие. Я попробую их заставить сложить оружие.

– Сдадутся ли? – Федора стало одолевать сомнение – восьмером на четыре сотни рыл дергаться как-то боязливо. – А ежели стрелять начнут?

– Не робей, подхорунжий. Эшелон 10-го Донского полка на станцию пришел, пробился из Новгорода. Две сотни и взвод из двух орудий. Они к перрону пушки подведут и жажнут шрапнелью. Давай за мной!

Коршунов хлестнул коня плетью и поскакал в расплывавшиеся по сторонам клочья холодного тумана. Очень не хотелось Федору сломя голову наобум в бой ввязываться, но делать было нечего, и он, рывкнув приказ казакам, понесся следом за командиром сотни.

Медведево

(Семен Кузьмич Батурин)

Семен Кузьмич вытянул из коробки очередную папиросу, закурил и задумался о наболвшем, посматривая на двор через чисто вымытое на зиму толстое оконное стекло.

А там шла привычная для казачат детская заруба. Пострелята вооружились выструганными Кузьмой «шашками» и теперь забавлялись – наотмашь секли толстые стебли репейника.

Старый казак усмехнулся в густые пшеничные усы – вроде веселая детская забава, ан нет. Все игры у казаков издревле на воинской подготовке зиждутся, чтоб с малолетства к бою готов был служивый. Вот и бьют мальцы репейник, секут его накрепко, но разве обструганной

деревяшкой так просто будылья перерубишь? Зато удар ставится накрепко, и пальцы потом шашку цепко держать будут.

Семен Кузьмич вспомнил, как ставил ему удар батя, царствие ему небесное. Загонял малого в воду по пояс да заставлял часами рубить воду, пока палка не падала из ослабевших пальцев. А как подрос, то сам к омуту ходил, по грудки вставал и бил воду крепко. А потом и по шею, только рука со струганной шашкой из воды торчала – и бил, бил, бил. А отец с берега еще раззадоривал словами обидными – что ж ты шашкой так слабо бьешь, сынок, как баба вальком. И смеялся басом, ухмыляясь в бороду.

И сам Семен Кузьмич так же и сыновей своих готовил, и внука старшего, а ноне за младших внучат надо браться. Повзрослели они, и времечко упускать нельзя. А потому еще чуток посмотрел старый Батурич на детские забавы и решил самолично с казачатами заняться. Встал с лавки с кряхтением, оправил мундир. Надевать бекешу старик не стал и налегке вышел из горницы, сняв с крючка шашку.

– Деда, деда! А мы весь бурьян на усадьбе порубали! Смотри-ка, деда, – мальцы встретили его дружными криками, раскрасневшиеся, игривые, с блестящими глазами.

– Плохо рубали, Антон Федорович и Семен Антонович. Очень плохо. Вкривь да вкось палками махали, а так казаки не рубят, так бабы вальками машут! – от гневного голоса деда казачата замерли и сразу начали пристыжено сопеть носами, громко шмыгая.

Сердце у Семена Кузьмича сжалось, не любил старик мальцов обижать, но суровость держать нужно было, чтоб настоящими казаками росли, а не «сынками» в лампадах.

– Брат Кузьма вам настоящую справу воинскую заделал, хоть и деревянные шашки, но и они оружие в умелых руках. А вы бурьян только поломали, а не посекали. Не хлестко секли, а наотмашь. Дай-ка сюда!

Антошка протянул деду «шашку», огорченно вздохнул, вытер рукавом нос. Старик кое-как ухватил рукоять тремя пальцами – все же мосластая ладонь не детская ладошка, подошел к уцелевшему репейнику и неожиданно резко взмахнул деревяшкой.

– Ух ты!!! – внучата восторженно выдохнули воздух – толстый стебель репейника, который они просто измочалили деревяшками, дедом был запросто ею же перерублен.

– Деда, а я удара твоего не приметил, быдто молния вдарила...

– Не твоего, Сеня, а твоего. И не быдто говорить надо, а будто, – Семен Кузьмич поправил внука. – Говорить правильно надо, а не баять. Вам в городе учиться придется, в гимназии. Засмеют, поди, с такой речью.

– Засмеют, батя, – из-за спины раздался голос сына, – засмеют. Учим их, учим, а поселковую речь выбить трудно.

– Можя и засмеют, тока не в городе, а здесь. Коли удар мальчикам не поставишь, весь поселок смеяться над Батуринами будет, чести нашей порука выйдет, – сурово отозвался Семен Кузьмич, повернувшись к своему первенцу, что повинно понурил голову, страхась отцовской нахлобучки. Понимал седеющий урядник, что за дело ему отец выговаривает. И к наказанию казак стал мысленно готовиться – если батя о поруке казачьей чести заговорил, то все, хана, лишь бы плеть в руки не взял, с него встанется.

– Ты казачат на молотьбу ставь, пусть овес шелушат, удар и поставишь. И каждый день пусть по четверти пуда овса шелушат, ручки и втянутся.

– Виноват, батя, не доглядел...

– То не ты виноват, какой уж догляд на службе. А женкам не до того было, с хозяйством управляться надо. А уж кто вину за собой имеет, так тот в конюшне спрятался. Чует кошка, чье мясо съел. Эй, Кузьма Антонович, поди сюда, хватит тебе коней седлать! А ты, Антошка, живо в дом, да принеси браткину шашку!

Младшенький внучок стремглав кинулся на крыльцо, громко хлопнув дверью – еще бы, честь великая оказана, настоящую шашку, до которой даже дотрагиваться было настрого запре-

щено, дедушка приказал во двор принести. И старший внук не замешкался, почти сразу вышел из конюшни на дедовский зов, чуть кивнув отцу – дескать, кони оседланы. И тут же впился глазами в Семена Кузьмича – вот тут я, и вины за собой не чую. Однако чуб на голове заметно дрожал – хоть и хорохорился Кузьма, но сейчас опаску держал, видел, что дед гневен.

– Захвати березовые стяжки, Кузьма, – Семен Кузьмич кивнул на навес у забора, под которым лежала небольшая грудка толстых прутьев. Невестки летом к ним помидоры подвязывали, а по уборке урожая свалили под забор, будущего лета дожидаться.

– Три штуки бери, сейчас их «сажать» будешь!

Кузьма вздохнул, рысью подбежал к навесу и хапанул несколько колышков. И тут же был остановлен Антоном, что стоял за спиной отца.

– Куды толстый берешь, дура. В палец бери, рано тебе «двуперст» рубить, клинок попортишь...

– Пусть один возьмет, посмотрим, что за рубаку ты, Антоша, выучил. А ты, Кузьма, три прута рядышком в грязь втыкай, а толстый отдельно – сейчас покажешь отцу и деду удаль молодецкую.

Сын тяжело вздохнул, зацепил крепкими пальцами кончик пшеничного уса, машинально накрутил, но перечить Семену Кузьмичу не стал – себе дороже выйдет. А Кузьма тем временем воткнул колышки в раскисшую грязь, топнул ногой. Затем вытянул шашку из ножен, которую услужливо принес малый двоюродный братец, или братка, как кликали завсегда казаки. Так уж истари повелось, что не разделяли в казачьих родах братьев на родных, двоюродных и троюродных. Всех именовали братками, не делая между ними различий. Да оно и верно – одного корня казаки, а считать побегии на родовом древе... Братками были и дяди с племянниками, если разница в возрасте была небольшой, и зятья, если примаками взятыми в семью были и по сердцу казакам пришились, и даже брат жены – шурин, коль по душе приходился...

Отточенная сталь сверкнула на пасмурном небе серебряной молнией, и внук нанес по первому колышку разящий удар.

– А ведь ничего удар, батя, внук-то твой молодцом оказался, – облегченно произнес Антон, выпуская ус из пальцев. Прут был перерублен наискось так, что отрубленная верхинка воткнулась острием в грязь. Такой удар и назывался казаками «сажающим» или «баклановским», по имени известного казачьего атамана, что рубил немирных кавказских горцев, наводя на них лютей ужас – ибо наискосок тела человеческие разваливал.

– Ничего удар, – согласился с сыном Семен Кузьмич. – Ан нет, не в счет пойдет, прутик-то повалился, косо его Кузьма «посадил». Давай, внучок, второй руби, посмотрим, а то по первой попытке судить трудно.

Внук кивнул чубом, отошел на шаг и взмахнул шашкой. Вот только результат оказался намного хуже – срубленная верхушка отлетела в сторону, упав плашмя на черную грязь.

– Да уж, – задумчиво протянул Семен Кузьмич, – руби теперь третий колышек, порадууй деда.

Внук махнул шашкой, но от волнения промахнулся, только свалив прут на бок и разрубив грязь так, что брызги во все стороны разлетелись.

– Да кто так бьет?! Будто ногой по коровьей «лепехе» со всей мочи саданул! – взорвался Антон. – Ты что отца позоришь, немощь бледная! Я тебя чему учил, поган...

– Остынь, сынок, не ругай его, – чуть слышно произнес Семен Кузьмич, и сидящий старший сын, удалой казак, которым всегда гордилось отцовское сердце, покорно остановил застрявшее в горле ругательство.

А старик повернулся к старшему внуку, что пристыжено опустил голову. В другое время дед пропесочил бы нерадивого отпрыска с тщанием, но сейчас старый казак видел густой румянец на щеках внука, под которым перекатывались тугие желваки. А потому ругать его не стоило

– Кузьма себя сам изводить начнет безжалостной рубкой, чтоб больше перед дедом и отцом не оскандалиться.

– Смотрите, внуки мои, и запоминайте, – Семен Кузьмич цепко взялся за рукоять и выхватил шашку из ножен. Серебристая полоса мелькнула в небе и все дружно испустили восторженный выдох. Толстый колышек был начисто перерублен, а верхушка воткнулась в грязь. Семен Кузьмич чисто «посадил березку», прямо и рядышком.

– Вот так рубить надо, внуки мои разлюбезные, – дед нарочито громко бросил клинок в ножны. – Занимайся каждый день, Кузьма, и с коня тож руби. И братьев своих учи, хорошо учи. Я не хочу, чтоб про моего внука говорили, что он молодец среди овец и овца при виде молодца. Сыны мои достойные воины, с крестами и медалями, и вы, внуки мои, должны быть достойны их чести и славы. Ибо мы – казаки, сына боярского Пахома Батурина дети, атамана Ермака Тимофеевича потомки...

Гатчина
(Федор Батурин)

Коршунов в сопровождении Федора и его казаков неся рысью вдоль полотна. Шли ходко и через минуту миновали донцов. Те спешно выгружали с платформы пушку, второе орудие уже стояло на путях, снятое с передка – у него суетился расчет. Вдоль эшелона жидкой цепью рассыпались спешенные казаки, лязгали затворами винтовок.

Останавливаться здесь есаул не стал, наоборот, хлестнул коня и помчался дальше вдоль пути. Федор с казаками устремился следом, к видневшемуся в отдалении зданию станции. И только сейчас он разглядел, что перрон битком забит людьми – множество серых солдатских шинелей и черных матросских бушлатов стояли ровными шеренгами, над головами поблескивала грозная щетина штыков.

Непроизвольно Федор оглянулся назад – от орудий до солдат едва тысяча шагов, а потому на станции будет не бой, а избиение. Тем более по сотне донцов заходило на флангах, а енисейцы, как он знал, в случае чего прикроют пушки. Но страх в душе оставался – ведь начнись драка, ему с казаками несдобровать. На штыки поднять успеют, такие вещи он на фронте неоднократно видел, когда озверелая солдатня с офицерами справлялась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.